

● В ЛАГЕРЕ И НА ВОЛЕ –

новые произведения Д. Таксера, С. Юрьенена, Л. Вайнштейна

● КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ИЗРАИЛЬСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ –

размышления А. Этермана

● ВОЛЯ НАРОДА ИЛИ БОРЬБА ЗА ГОЛОСА –

И. Шумпетер о двух концепциях демократии

● ЧЕСТЕРТОН, ИЛИ КОНСЕРВАТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА –

эссе О. Кустарева

● КНИГА, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ "ЖУРНАЛ" –

И. Гутина о проблемах современной культуры

52



52

МИМОУСТЫИ  
ИЕРУСАЛИМ  
МОЖЕВА - АУКУЮМ

MI ≡

№ 52

# ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле  
Лауреат премии имени Р. Н. Этингер за 1984 год*

## 52

*февраль-март 1987*



*издание общественного культурного фонда  
"МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством израильского комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- 3     *ДАВИД ТАКСЕР.* Воспоминание о будущем  
27     *НАУМ ВАЙМАН.* Стихи  
31     *ЛЕОНИД ВАЙНШТЕЙН.* Мебельный склад  
49     *ВЛАДИМИР ТАРАСОВ.* Стихи  
54     *СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН.* Два рассказа  
85     *ЛЕОНИД ИЦЕЛЕВ.* Ленинские кадры  
91     Юбилейное-ироническое (*Г. ДРИЗЛИХ, М. ГЕНДЕЛЕВ*)

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 96     *ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН.* Вызов — здесь!  
100    *АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН.* Истина с близкого расстояния

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 123    *ИОНАТАН ШАПИРО.* Израильская политика: отцы и дети

### СУДЬБЫ ИДЕЙ

- 134    *ИОСЕФ ШУМПЕТЕР.* Две концепции демократии

### ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 156    *О. КУСТАРЕВ.* Честертон

### ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

- 173    *НЕЛЛИ ГУТИНА.* Книга, которая называется "Журнал"  
          Демократия и тоталитаризм в терминах культуры  
          (из книги "Журнал")

### ДИАЛОГИ

- 188    *БЕН-БАРУХ.* Разговор ни о чем

### ЛЮДИ И КНИГИ

- 208    *АЛЕКСАНДР ЛИБИН.* Самодостаточность литературы  
217    *ВИКТОР КАГАН.* Что такое "научный социализм"

### ПИСЬМА

- 221    *С. ТИКТИН. О. КУСТАРЕВ.*

*На последней странице обложки: БОРИС ПОЛЯКОВ, автор трилогии "Опыт и лепет", по случаю присуждения ему премии имени Рафаэли в годовщину безвременной смерти*

## ЛИТЕРАТУРА

Шнырь и Витек задумали рвать когти. А что? У обоих по неразменной четвертной сроку, и хоть они воры в законе, из малого числа тех, кто, по лагерной поговорке, пляшут и поют, когда остальные плачут, но зона им очень уж насто... одним словом — обрыдла. С весны, днями кантуясь у костра, пока фраера куют лесоповальную пайку, они толкуют о воле: и кто, где, что сработал, и где не обходилось без мокряка, и какие у кого были шмары\*. Выходило, что они воры ловкие, удачливые, а потому даже такое трудное дело, как побег из таежного лагеря, им светит.

В тайге отвалить от конвоя не хитро. Не то дело — уйти от вохровцев, высланных немцев, их всего-то трое на большую делянку, — дело потом оттопать по таежным болотам, почитай, с триста километров до города Серова. Город Серов — первое место, где затеряются среди людей, от него пути во все стороны.

Триста километров до города Серова, если не блуждать, да не считая кругов на обход лагерных зон и поселков: Вижай, Полуночное, столицу этого задолбанного лагеря Ивдель, первую станцию лагерной железной

*Давид Таксер*

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

---

\* "Мокряк" — дело с убийством; "шмары" — женщины.

дороги Саму. Это только главные, а еще нужно обходить рабочие делянки и лесобиржи. Вдоль берега Лозьвы не пойдешь, тут же сцапают, и по единственной лежневке — тоже. Путь их нехоженой тайгой, как не блуждать? Значит, нужно думать, с месяц пешего хода. А где харч?

Сначала хотели пришить вохровцев, забрать винтари, чтоб было чем отмахнуться и охотиться, но это все отпало. Знаток сказали, что никакой дичи в округе нет, одни сосны, а уж за охранников, в случае чего, их пришьют точно. Правда, собачник лагпункта Соловьев и без того беглецов живыми не оставлял. Всех их, упокойничков, клал на разводе под вахту, чтоб другим неповадно было. Только не один Соловьев будет в погоне. Если отвалить километров за сто, так риску на него напороться мало. Чужие охранники не станут злодействовать, как свои, не им от начальства перепадет за то, что Шныря с Витьком не уберегли. Ребра, конечно, переломают, так ребра срастаются, а новый суд вообще ерунда. От четвертных\* отсидели чуть меньше года — его и добавят. Что рано ли, поздно ли, поймут — без сомнений. Куда в Эсесере от мусоров\*\* денешься? Но сколько-то, если повезет, погуляют.

Болтали они, толковали, Витек со Шнырем, пока лето не вошло в месяц август. Теперь и "белые мухи" не за горами. Или сейчас, или кантоваться здесь до будущего лета. А душа уже расстравлена. Не такие они, чтобы ждать да ждать, в самый первый нерабочий день того месяца подались к пахану. Вообще-то они его за пахана и не считали. Статья у него подходящая, да никто его по прошлому не знал, ни те, кто в лагере, ни те, кто пока пишет с воли. Может статья, он и вовсе фраер, в цвет прикинувшийся. Но это дело уже отошло, толковище\*\*\* Витька со Шнырем не поддержало, только этот самый Леха-пахан затаил на них злобу. Теперь, вот, к нему идут.

Леха сидел на верхних нарах, по-мусульмански поджав под себя ноги. Рядом его кореша, внизу шестерки мусолили колотушки\*\*\*\*. Конечно, Лехе доложили, что к бараку кандехают Ви-

---

\* "Четвертная сроку" — двадцать пять лет заключения под стражу.

\*\* Представители власти.

\*\*\* Сходка. Воровской "парламент".

\*\*\*\* "Кореш" — приятель; "колотушки" — карты игральные; "шестерка" — подручный вора.

тек со Шнырем , но он их встретил, вроде вошли неожиданно: "Ка-а-во я вижу", — затянул на одесский манер.

"Нет, не воровская масть", — промелькнуло у Витька старое, но он пришел не уличать, а просить, потому, хоть и сдержанно, ответил, как вор в законе — вору в законе.

Малое замешательство произошло, когда попросили поговорить с глазу на глаз. Леха обвел их взглядом, как обшмонал, но все же прикрикнул на шестерок, те отложили карты, ушли. А кореша только отодвинулись.

— Дело у нас такое, — сказал Витек без предисловий. — Рвем отседова.

— Хорошее дело, — ответил Леха и замолчал.

"Еще бы, для тебя — не хорошее, — подумал Витек. — Кто тебя, падлу, без нас пришьет?"

— Харч нужон.

— Сами знаете, с энтим хреново. Посылок нет, кухня у сук. Паечек с десяток сообразим, а больше...

— Нам с месяц топать.

— Што делать? Корову придется пасти.

\* \* \*

После тюрем, пересылок и этапов лагерная зона — облегчение, если смертный голод не в счете. В тюрьмах к голоду еще и стены, а тут небо. Пусть впереди полная беспросветность, но Мишка умеет отсчитывать от худшего. Худшее — это и есть тюрьма да этап.

Когда до рассвета забили в рельс — подъем, в барак влетел дневальный УРЧа\* и среди всяких освобожденных от работы по болезни, оставляемых в кандей, выкликнул и мишкину фамилию: "...переводится в седьмую бригаду". Зачем и почему, Мишка не знает, но всякая перемена от лесоповальной бригады — благо. Впрочем, седьмая тоже лесоповальная. Только и блага — надежда кантануть. Скажет: пока искал, вывели ее за ворота. День канта — год жизни.

Нет, не пролез этот номер. В прежней бригаде не дали пайку, говорят, сняли с довольствия, топай куда перевели. Пайка не шутка, без пайки какой кант? Ринулся он разыскивать седьмую, — пока нашел барак, они уже в столовой. Туда прибежал — поднос

---

\* Учетно-распределительный орган лагеря.

пустой, бригадир щерится: “Вовремя нужно, сукотина”, — но миску баланды подвинул. Пустая баланда без хлеба.

Ах, он, хлеб, шоколадный-сахарный! В жизни не едал ничего вкуснее лагерной паечки. Что там блины белые с маслом, матерями и женами испеченные. Что там икра разная с балыками, которые, говорят, при царе да НЭПе в бочках протухали в каждой захудалой лавке. Ах, как вкусен сталинский хлебушко, хоть черен, как застарелое дерьмо, и как свежее, мокрый. Да за эту паечку Мишка и слезы готов лить, и удушить кого-нибудь. Только слезы лить здесь без пользы, а удушить бугра\* отожра-того силенок нет. У него, почитай, первая категория, а Мишку уже комиссовали на третью — интруд. Дальше только четвертая инвалидная категория, потом деревянный бушлат\*\* с биркой к ноге.

В общем получился вместо канта огромный вред, хуже не придумаешь — лишился кровной паечки. С тем и пошел в барак, и указали ему место на нарах напротив угла с парашей\*\*\*, как положено новенькому, мужику, вдобавок контрику — полный букет, вроде касты неприкасаемых.

И тут начались чудеса. С нар в красном углу соскочил законный вор Витек и пошел на дневального.

— Ты што, сучье вымя, кореша моего забижаешь? Я тебе враз буркалы выдавлю. Лож его от меня поблизости.

Подивился Мишка неожиданной защите не меньше дневального, но сразу сообразил: “Пайку, — говорит, — мою зажилили”.

— Как?! — взвился Витек. — Уже и до кровной-мужицкой добрались! Где бугор?

— Тут я, Витек.

— Ах ты падла! Вот на чем холку нажрал. Штоб тут же пайка была. А работать он будет — костер мой и Шныря содержать. Понял?

— Так я же что, Витек? — заюлил бригадир. — Я же не знал.

— Знай.

Не жизнь пошла у Мишки — малина. На работе даже дрова для костра Витьку со Шнырем не рубит, только подносит. Ко-

---

\* Бригадир.

\*\* Гроб.

\*\*\* Бочка для испражнения.

нечно, и паечка стала обламываться горбушкой, и баланда по-гуще. Просто стал отходить, а Витек все поглядывает да приговаривает: “Тощей. Больно тощей”.

На другую неделю такого житья, после обеда, когда разморило, Витек вдруг завел разговор:

— Ты, Миша, червонец только разменял, а у меня со Шнырем по четвертаку, но дело твое не лучше нашего. С пятьдесят восьмой статьёй еще ни один не ослобонился. Как под конец подойдет, так новый срок и впают. Ведь червонец твой оттого, что судили до сорок седьмого года, когда за ним сразу вышка.

— Знаю, да что поделаешь?

— Поделаться-то что-нибудь можно. Сказывают, мужик ты фартовый, бежал с этапа, вот я и договорился с нарядчиком перевести к нам в бригаду. Короче, рвем отседова, мы со Шнырем знаем как. До Свердловска доберемся, там у нас человек ксивы\* лепит лучше мусоров. Пойдешь с нами?

Боже, кто откажется?! Идешь направо до горизонта, а хочешь — налево. С хорошими документами можно к Кушке податься или к финской границе. Нет такой стены, под которую не подкопаться, не перелезть, если не нахрапом, со знанием, что к чему. Неужли не рискнет за свое кровное, когда не единожды рисковал головой за какое-то общее.

Перед побегом Витек со Шнырем провернули дело, — не своими руками, бугра заставили. Баланы\*\* на лесобиржу трелевал бесконвойник по кличке Чудила с кобылкой Рыжухой. Отсидел Чудила почти семь лет по статье семь восьмых\*\*\*, через месяц ему освобождаться. Потому у него в счете уже не только дни — часы. Стоит Чудила с вожжами в руках, пока балан зацепляют, на солнце поглядывает: “Почитай, уже три часа будет”. В следующую ходку: “Почитай, не меньше четырех”. Так до съема, хоть время по Чудиле сверяй, а кто с ним в одном бараке — говорят, он и ночью считает-нашептывает.

В тот день подготовили под трелевку балан в месте, где указал бугор. В другом месте подпилили сосну так, что ее только толкнуть. Когда комель балана увязывали на лежни, подбежал бригадирский шестерка Попугайчик, сказал Чудиле, что вохро-

---

\* Документы.

\*\* Мерный отрезок древесного ствола.

\*\*\* Указ об усилении ответственности за расхищение социалистической собственности от 7 августа 1938 года.

вещь зовет. Это из чистого человеколюбия. В других местах хлыст опрокидывают на коня вместе с возчиком для вероятности несчастного случая.

Только Чудила отошел — крик: “Бой-си-и-и!” И пошел хлыст с треском, со стоном, кроной по кронам. Пошел, пошел, со свистом бича, недаром хлыстом зовут, грохнул по конской хребтине, сбил в хвою, и огласилась тайга смертным ржанием: “За что-что-что-о?” А уже бегут со всех сторон с топорами, топорами по еще живому, потому как быстро надо, может и вохровец прибежать, пухнет в небо тревогу — мясо не зекам. Пока Миша от блатного костра подошел — одна голова да скелет в буром пятне. На пне Чудила слезы размазывает. Больше ему считать не для чего. За лошадь коноводу самое малое десятка.

В тот вечер, перед отбоем, подстерег Мишу возле сортира шестерка Лехи-пахана Шкода. Видно, долго ждал, дрожал от холода.

— Слышь, мужик. Я те что скажу. Ты того... не тушуйся. Тебя на мясо берут. Как нечего будет хавать, так того... А ты не будь фраером. Ночью, когда спят, того... Я тебе по любви. Держи, вот, ножичек, через шмон на разводе в бахиле\* пронесешь, понял? И растаял во тьме. Остался Миша с ножом в руках. Еще не дошло до него, когда Шкода снова из тьмы вынырнул: — Отказываться от побега — бесполезняк. Тут же пришьют. Меня выдашь — найдут на любом лагпункте. — С этим исчез окончательно.

Так и проявилась воровская любовь. Сказал Шкода не пустое, влип Миша вроде мухи в паучьи сети. Куда не кинь — конец. Мелькнуло в голове пойти на вахту, расколоть их — сразу отбросил, не только потому, что с гебешниками не хотел иметь дело. За жизнь единственную каждый вправе царапаться, а с пауками-ворами подавно. Но бесполезно это. Кто побег выдал, того нож или топор найдет в любом лагере. Уже видел не одну стучащую смерть, последнего утопили в сортирном дерьме. Так-то. Живым вышел с фронта — здесь зажат в угол. Но есть лагерная поговорка: “Умри ты сегодня, а я завтра”, вот и попробуй не первым умереть.

От вохровцев скрылись просто. В других местах делянки ограничивали просеками, а здесь ни к чему — сама тайга с болотами держит. Для уверенности, что не кинутся их раньше съема, разложили утром костер на виду вохровца Хари и посадили к нему спи-

---

\* Лагерная обувь.

нами двух зеков в приметных новых бушлатах с плеч Витька и Шныря.

Первым шмыгнул в чащобу Шнырь. Витек оглядел, как получилось, подтолкнул Мишку, потом уже сам. Долго не бежали, у каждого к животу подвязано по куску конины, другой груз есть. Бежать — силы терять, перешли на скорый шаг. До конца работы те двое у костра вместо них просидят, а потом ищи-свищи беглецов за тридцать километров.

И зашумела над ними вольная тайга, совсем не такая, как в оцеплении, голос у нее другой, свободный голос. Вышагивается без конвоя за спиной споро, легко. Хорошо идут, дружно. С Мишей оба ласковы и промеж собой, как трое одним делом связанные. Притомились — кушать сели вместе, хоть ворам с мужиком не положено. Вместе досыта наелись. Может, тиснул\* Шкода по злобе?

\* \* \*

Несколько сытых дней, и отцепился навязчивый сон, что нуждал растрачивать вхолостую последние соки жизни. Только притиралось тело к жердям настила барачных нар, только куцый бушлат, с остатками на огниво раздерганной ваты, согривал ноги, Миша якобы проникал в хлеборезку. То вскакивал туда, когда хлеборез не сразу запирает за собой дверь, болтал с кем-нибудь, то, вроде, пробирался к ней спящей зоной, перебежал от барака к барачку с фомкой\*\* в руках. Потом, под нажимом фомки, из досок вытягивались ржавые гвозди, со скрипом, слышным только ему. Он прямо-таки видел и слышал, как они выползают, изгибаясь, а подставленным плечом ощущал тяжесть отпавшего засова с амбарным замком, как наяву.

Во сне он проникал в хлеборезку мгновенно. Вокруг на полках пахучие буханки — съесть-непересъесть, и вот уже во рту ощущение плотной корочки в точках отрубей. Особенно восхитительны нижние углы буханок-кирпичиков, в них зубы впиваются в первую очередь. Под нажимом зубов корка сначала чуть прогибается, потом слегка дерет небо, пока обволакивается слюной, а мякоть уже налипает. Языком отлеплять мякоть бессмыслен-

---

\* Соврал.

\*\* Металлическое приспособление для взлома.

но, что пойдет дальше — само протолкнет. И пошло, и пошло, и пошло в прорву...

Иногда в сон вплеталось слышанное: "Хватит! От сытости дышат". А где она, сытость? И всякая мысль, что мешала жевать, чуть мелькнув, отлетала. Или, вдруг, осложнение: спал в хлеборезке хлеборез. Он спал там в действительности. Это лишь добавляло детали перед началом жева: хруст черепных костей под фомкой, отбор не всяких буханок, а только не забрызганных мозгами и кровью. Отбор буханок, не забрызганных человеческой кровью, — последнее, что осталось от человека, все другое сожрал зверский голод. Убийство не останавливало, возможно — не остановило бы и в яви, если бы не знал, что хлеборезка ночью пуста, хлеб привозят перед подъемом. Если бы хлеборезка ночью не пустовала, кто-нибудь из смертельно голодных давно проломил бы хлеборезу череп.

Смертельно голодные не считаются с жизнью хлебореза, только по возможности возьмут не забрызганное кровью — вся разница между дышащим от голода человеком и шакалом. Шакал сожрет, как есть. Но и человек сожрет, как есть, если не дать выбора. С выбором даже Витек предпочтет Мишиной плоти конину, только бы ее хватило на его путь.

Сытому человеку перед взмахом фомки представляются дети хлебореза, в сытом человеке душа, душа — предел зла. У каждой души свой предел зла есть. Человек отличается от шакала не в голоде — в сытости. Он обязан быть сытым, быть с душой, с рассуждением, как сейчас разлегшийся на таежной полянке сытый Миша. Лежит себе и рассуждает о пределе зла. Вокруг сытого Миши красота мира, он ее вовсе позабыл на пустой желудок: небо голубое в барашках редких облаков, странников небесных, хвойный воздух густой, как родниковая вода, миротворный шум сосен. Лежит себе сытый Миша, веткой от комаров отмахивается.

А в лагере был у него и другой сон. Сон — месть. Восстановление через месть попранной справедливости в отношении к остатку его еще живого тела. Тело, правда, зажило, остались рубцы на запястьях от зубцов трофейных немецких наручников. Хитроумные немцы придумали эти наручники для рук любой толщины. Говорят, что эти наручники сами собой зажимаются при малейшем шевелении. Пошевелишь руками, а зубцы в тело. Но тому, кто на Мишу наручники надел, ждать, когда они сами вопьются, некогда. Неохота ему было ждать. Положил он Мишины руки в

наручниках на табурет и давил ногой, пока брызнула кровь. Он же и четыре пайки отобрал. Четыре из шести, полученных за шинель заграничного сукна. Четыре паечки, оставленные "на потом".

Давил он наручники на Мишиных руках ногой в сапоге и приговаривал: "Говори, сука, кому шинелку толкнул\*."

Разве скажешь?

Не знал Миша, что известный изверг, собачник Соловьев, на его шинель глаз положил. Знал бы — конечно, ему продал бы, а не охраннику. Хоть изверг, а за шинель, годную на пальто его марлухе, не меньше того охранника отвалил бы. По тому, как ведет ее в вольный день в лагерную баню, нежно под локоток придерживает, видать, что любящий изверг Соловьев мало что для нее пожелает.

Соловьев мог бы и сменку вместо шинели дать получше этого марлевого бушлата. Сколько поколений зеков из него вату дергало на огниво? Мало ее осталось для тепла. Что Миша — чучело в марлевом бушлате, в трофейной японской шапке с оторванным наушником, в лаптях, — не беспокоит. С дамами не гулять. В смертном голоде уже и не понять, как мог когда-то расстрачивать попусту столько душевных и разных других сил. Здесь дамы-доходяги, с грудями-тряпочками, тянут двуручные пилы на разделке баланов вместе с доходягами-мужчинами и поочередно с ними на пилу писают, когда заклинивает.

И вот, после дневного ада, не так часто, как хлебрезка, но все ж-таки являлся Мише ночами второй сон-утешение. Видел он распахнутые лагерные ворота. Не для того ворота распахнуты, чтоб зеки разбежались: на вышках часовые, в запретной зоне еще полыхают осветительные костры. Ворота распахнуты, чтоб на их перекладине висел собачник Соловьев. Ни разу не явилось, кто и как его повесил, может быть, от того, что и во сне чувствовал: своих сил даже связанного повесить не хватит. В общем, кто повязал, тот для Миши и повесил. Уже висит Соловьев готовенький, а Мишу только вокруг подзуживают: "Ну-ка, повисни, Миша, на ногах Соловьевских. Повисни да подерни, а то, видишь, никак без тебя не кончится". И Миша обхватывает мосластые колени, повыше сапог, что давили на наручники, а кругом приговаривают: "Вот тебе, Соловьев, за муки Мишины. За четыре его паечки. За боль его тела живого". С тем воцаряется справедли-

---

\* Продал.

вость, хоть полыхают костры в запретке и часовые сторожат на вышках. Своя справедливость у волка, своя у овцы. Своя справедливость в лагере.

\* \* \*

Когда уперлись в болото, Витек сказал: "Еще лучше — вода собакам след не даст". Вырубил топориком жердину, пошел вперед, дно щупает. Воды больше, чем по пояс, но перешли. Не топкое болото, слава Богу. Еще два раза болота переходили, на заходе солнца холодно мокрым. Высек Шнырь огонь кресалом, разожгли костер, обогрелись. Это пока был веселый день, сытый, и за ним такой же. Наутро, за тем последним веселым днем, сквозь шум сосен вроде бы донесся собачий лай. Вроде раза три гавкнуло. Потом, сколько ни вострили уши, ничего не услышали, решили — показалось. Только через час уже сомнений не было: шел пес по их следу, шел. То затихал лай, то снова, и каждый раз яснее прежнего. Заколесили они по болотам, время растравили, погоня совсем близко. Шнырь идет, приговаривает: "Хотя бы не Соловьев, хотя бы не Соловьев". Витек помалкивает, а Мишка ощутил себя вдруг в окружении с солдатами. Если он, лейтенант, что-нибудь сейчас не придумает — крышка всем. Как раз проходили узкой сухой полосой посреди болота. Полоса по краям кустами, как обсажена, за нею лес.

— Дело такое, мужики, то есть, воры, — поправился. — Бежать от собачьих ног — не убежать. У него пес, должно быть, не на поводке, но все равно от хозяина далеко не уйдет. Один из нас залазит на сосну пса дразнить, двое — по обе стороны тропы. Сначала подальше, чтоб пса к себе не привлекать, а когда он под дерево прибежит, сразу вплотную. Соловьев тут пойдет.

— Вот ты на дерево и полезешь, отвечает Витек, — а то уже много власти забрал. Здесь не армия.

"Кому, как не фраеру, первому под пулю, — ему подумалось, — пес может быть на поводке".

— Что ж, полезу. Только вы оба помните, если дадите меня подстрелить, за мною ваш черед. Или Соловьев, или мы трое.

— Ладно, ладно. Давай, залазь.

Но Миша еще тропу обошел. У Соловьева карабин, значит, с этой площадки лучше всего стрелять. С нее сосну хорошо видно. Потом его подсадили до нижних ветвей. На середине снял бушлат, повесил на сук, а сам выше, выше. Открылся ему, наконец, гори-

зонт. Небо открылось, полное небо, не сквозь ветвяное решето. Рябит под ветром сосновое море, сколько хватает глаз. Вот, оказывается, чего человеку, к просторам привычному, в тайге не хватает — горизонта. Увидел Миша, наконец, горизонт, и может, в последний раз.

А собачник Соловьев вышагивал споро. Ему тайга, как вора́м тюрьма, — дом родной. Здесь родился, здесь с отцом на медведя ходил, когда еще зверье лесоповалом не распугали. Когда еще лагерями не пахло. Был он собой высок, кряжист, сухопар. Работу эту считал той же охотой. Точно, охота и есть, только полегче. Медведь, он ведь житель таежный. Его и выследи, и подыми, и, неровен час, подомнет. А энти, беглецы которые, — трухлявое семя. Опять же, с медведя мясо только по осени и то если не старый. Шкуру за бесценнок скупали. За энтих по пятьсот рублей с головы, еще отпуск. Но отпуск — на кой он? Опять же, собачку хорошую дали, содержание, обмундирование... Знает он, Соловьев, что его живодером считают. А зря. Он бы и живых приводил, кабы платили. Правда — морока. Попервой было такое. Взял живого, ночью к сосне привязывал, чтоб опять не сбег, привел, а там говорят: “Ты што же энто, кержацкая харя, на нас грязную работу перекладываешь? Его на разводе надобно под вахту покласть, штоб все не разбежись”. И рубля не заплатили. “Живых водить, — говорят, — в жалованье входит”. Так что теперь он лучше с коньком вернется, потрелюет. Опять же, глупое это племя, беглецы. На юг — непроходимые болота сходятся, суша узким горлом. Он, Соловьев, и не петляет, прямо к горлу идет. Вот если бы они на восток подавались, тогда морока. Прут, как один, на юг. Кобель его, Буржуй, и то эту дорогу знает. Ну, а ежели правду говорить, так на восток за одну жизнь тайгу не перейти. На север — тундра. На запад — горы. Вот им только к горлу, под его пулю.

Тут как раз Буржуй и зашелся лаем, каким лает при виде добычи. Соловьев сдернул с плеча карабин.

Оттого пес заходится лаем, что Миша ветку трясет, бьет по ветке ногами. Потрясет, потрясет, — и вверх. Можно дотрястись до пули. Но нужно и чтоб пес из-под дерева не ушел на тех, кто в болоте. Наведет Соловьева пес, он их уложит, потом Мишкин черед. Будут рядком лежать под вахтой. Мишка будет лежать, а солнце все равно взойдет и зайдет, как ни в чем не бывало. Люди все равно будут копошиться и в этом страшном мире, и в том, где еще неклеваные. Где пустяшную обиду еще горем считают.

Ах, как не хочет Мишка, чтоб солнце без него всходило и заходило. Всего двадцать два года, с войны выкарабкался живым; из огня да в полымя — с фронта в лагерь. И даже если сейчас не они, а Соловьев, на что малый шанс, так сколько еще впереди Соловьевых? Ладно. Сказано: умри ты сегодня, а я завтра.

И выгорело. Не так чисто, как хотели, но все же выгорело. Соловьев с той площадки пульнул по бушлату, на секунду задумался: не может того быть, чтоб промахнулся, а беглец с дерева не падает. Повис на суку? Эх, Соловьев. Оно, конечно, не бывало, чтоб медведь свою шкуру на дерево вешал, сам в засаде, так на то он медведь. Зашуршали кусты слева, Витек чуть помешкал, выскочил справа, когда грохнул выстрел по Шнырю. Чистенько всадил нож меж ребер, потом еще в шею да подтолкнул, чтоб скорее упал. Пока человек на ногах — опасен. Падая, закричал Соловей таким криком, каким кричали не единожды им подстреленные. "А-а-а", — поднялось над тайгой призывом к забытой в обыденности матери, к жене, ожидающей мужа в вымытой избе, — ко всем, кто уже не поможет.

Тут же и Витька пес сшиб на землю. Закричал Витек: "Шнырь!" Где там. Шнырь сидит скрюченный в кустах, окровавленной рукой рану в плече зажимает. Но Миша подоспел с жердиной, хряснул по хребту, кобель отбежал. Миша за ним — кобель дальше отбежал. Вот ведь, говорят, собака за хозяина на смерть бросается — за Соловьева не захотела, бросилась наутек. Витек орет: "Не упускай! Мусора дознаются, что Соловья пришили". А из жердины вслед не выстрелишь, хорошо, что отогнал. Вернулся за карабином — пса и след простыл. Ищи его в тайге.

Карабин. Карабин в руках у Мишки. Четыре патрона в магазине, незабытым движением дослал один в патронник. Вот, Миша, те, кто задумал от плоти твоей вкусить. По пуле им, еще две останется. Некстати мелькнуло, что гебешники из благодарности могут жизнь сохранить. Это, что мелькнуло в голове, и спасло Витьку со Шнырем. Мелькнуло, и предстали ненавистные рожи из Потсдамского СМЕРШа, дубовая харя лагерного кума, да Чума — сам начальник лагеря. Эти его сожрать хотят, если голод, те — без голода. Бросил Мишка карабин. Еще не голод, да один раненый, да оба фронта не видали, — посмотрим, кто кого сожрет. Пока, вон, стонет, стонет, как обыкновенный человек. Испарилась воровская спесь. Когда стонут, помощь — первое дело, и Мишка пошел к Шнырю, но тут же Витек заорал: "Покедова

никто не наскочил, иди Соловья топить". Мишка не ответил: сам знает, что вперед, что после. Уже наметилась Мишкина независимость. Кто придумал, как всех спасти? Без него валялись бы бездыханными трупами. Без него поволок бы их конь, как бревна, так что право добыто, и Витьку нечего орать. А что лежит враг Миши, Соловьев, хоть не повешенный, как во сне, но мертвый, почему-то безразлично. Сон тот остался на лагерных нарах.

Витьку оказалось мало спасения для фраерских прав: подошел, глаза звериные в щелочках. Гаркнул в ухо: "Я тебе што, паскуда, говорю?! Вор говорит!" — и рука за бушлатом ножиком поигрывает.

Черт с ним. Конечно, если в него всадить, другое кричал бы. Еще не вечер, еще покричит. Впряглись в ноги, как в оглобли, вдвоем с трудом поволокли тело, тяжелое и неудобное, как коряга. Потом Витек собрал все, что осталось от Соловья, побросал в воду. Карабин туда же. Ничего себе не взяли, даже соль, а очень соль хотелось взять. "Вот так. Подвешивать будут, кто жить хочет — смолчит. Сном и духом не выдывали. Сукотина, упустил пса", — это Мише.

С того места не пошли — побрели. Чуть отделились, сзади как бы собачий визг. Витек шикнул на Шныря, чтоб не заглушал стоном, прислушался. Без шума с Мишей вернулись, смотрят из-за сосен — там пес место кровавое, что присыпали, разгребает. Шурует, только лапы мелькают. Пошурует, обнюхает и снова шурует. Мишка вытащил кусок конины, осторожно пошел с кониной в вытянутой руке. Пес присел, ощерился, зарычал, на мясо ему брошенное, даже не посмотрел. Налитые злобой глаза прямо в Мишкины глаза, а сзади Витек рукоятью ножа подталкивает, и так сближаются по мелкому шажку, чем ближе, тем пес больше пружинит лапы для прыжка. Витек шепчет в затылок: "Не успеет, не успеет. Я здесь с пером\*, — и подталкивает, подталкивает. На долю секунды Мишка допустил в глаза страх, пес ринулся грудью в грудь. Не будь Витька сзади — не устоять. Шею успел прикрыть локтем, так что челюсть сомкнулась на руке в ватном бушлате. Тут же песья кровь брызнула в лицо, теплой липучей струей растеклась под рубахой. Что другое — неизвестно, ножом Витек работать умеет. Каждый в чем-то должен быть мастак. Один лопатой шурует ловко, без лишнего взмаха, другой пашет без ог-

---

\* Нож. Финка.

реха, третий сруб срубит — любо-дорого смотреть. Ничего того на долю Витька не перепало. От человека оставлено ему имя — Витек, остальное все от зверя. Еще иногда бывает у Витька сон человеческий: мамка держит на мягких коленях, коленом покачивает, в руках кружка с парным молоком. И вроде бы сладкий вкус того парного молока во рту. Но не уверен он, что не выдумал все это, а то, может, видел в кино, когда шкетенком бездомным пулялся в зал без билета. Мамка ли, не мамка, — как проверишь? А парное молоко было и после. Вот он однажды не утерпел, отбился от дружков, спрыгнул с поезда при виде луга с коровами, но ни одна подоить не далась, да и не умел. На возню с беготней пастухи сбегались, поймали, приволокли в деревню и били там мужицким смертным боем. Могли убить, если бы не баба, выскочила баба с ухватом на мужиков: “Креста на вас нет, душегубы. Мальчонку голодного...” В избе этой бабы он и вкусил парного молока. Только вкуса того, что во сне, не было. Примешан был вкус крови от выбитых зубов. Так что харкнул Витек кроваво-молочным плевком на тот умягчающий сон, ночью бабу обобрал, хотя ничего стоящего в избе не имелось, и подался по путям, по шпалам, в свою долю. От всего дела остались в памяти злобные в щетине мужицкие рожи, совсем презирал мужиков, а баба с ухватом из памяти испарилась. Во зле помнится только зло.

К побегу Витек личил на своем счету три души, а мусора записали ему две, каждой хватило на четвертную с поглощением прежней четвертной. Вышку Ус отменил, чтоб было кому работать.

Первая душа — сторож магазина. Запирали его на ночь меж дверей. Внутренняя дверь, со стеклом вместо филенок, на запоре, чтоб сам чего не украл, наружная, — чтоб спяну пост не бросил. Только зачем ему пост бросать, он и в том закуте зашибал крепко, да храпел так, что на улице слышать.

Перед сменой Клавка-наводчица сторожу пол-литра подсунула вроде бы в долг, а ночью они потолок вскрыли, и ладно все шло, пока не поднял сторож хипиш, заорал караул. У него и бердан был, мог пульнуть, но Витек бросился к двери, стекло высадил, ткнул ножом в тулуп. Совсем неумело ткнул, куда попало. Сторожу в закуте деваться некуда, притих, шепчет одно: “Сынок, не режь, я смолчу”. Уже не остановиться и, опять же, —

свидетель. Одиннадцать ножевых ран потом насчитали, а Витек не считал.

Двое других — лагерные. Один стукач\* — Витьку карта выпала. Не шла масть, и все тут. Другой — фраер в Печерских лагерях. Оттуда выбираться надо было. Из Печерских лагерей совсем не убежать, вот и выбрался на следствие, после суда — в Ивдельлаг. Фраер не просился, не успел. Витек его топором по котелку и с топором же на вахту: нате, берите меня. Следовательно все допытывался, почему да за что. Что ему скажешь? По воровскому делу. Ивдельлаг хоть и штрафной, но к России ближе. Не думайте, Витек знает, что и Ивдельлаг, и Печерлаг, и Соликамские лагеря, и Колымские, и бухта Ванина, и тысячи других, — все Россия. Но Россия для вора — место, где он на воле.

В общем, три души на Витьке, четвертая — Соловьев. Эту падлу даже фраер, которого на всякий случай на мясо взяли, за душу не считает. Нашел собачью смерть на радость зекам.

К вечеру всех, загубленных Витьком, и его самого стал оплакивать дождичек. Затянул меленький, нудный, как бабьи слезы по привычному горю. Тайга и в солнечный день не сказки Венского леса, а в хмурь вовсе подземелье. Хлещут хвойные ветки колючими мокрыми иглами по лицам, по рукам, по чему придется, — нитки сухой не осталось. Хуже всех Шнырю, ему защититься только здоровым плечом, а идет он в середине, чтоб не отстать. Какую ветку Витек от себя отведет, та его достает. Но другая боль не заглушает боль в раненом плече, второй болью накладывается. Этот фраерок обложил рану листьями какого-то папоротника. "Не знаю, — сказал, — поможет ли, но чище твоих кальсон". Поверх перевязал оторванными от исподнего штанинами, и хоть обрадовал, что кость цела, но боли не снял. Еще мучит Шныря, что на дерево не полез. Думали, на дереве опасней, оказалось опасней, где был. С Витьком, с тем местом не обменяться, а на дерево можно бы запросто. Что с того, что сам не захотел. Если бы рассказали, как заместо себя бушлат под пулю выставить, мог бы полезть. Так ведь, сучара, не рассказал, для себя сберег. Теперь хоть и выберутся из тайги, Шнырю крышка. К вольному лепиле не пойдешь, он тут же обязан в милицию донести, а без лепилы со своей раной на виду. Заживет ли, как на собаке? Не

---

\* Доносчик.

похоже, очень ноет. Ему бы к лепиле в лагерную санчасть. Да разве Витек позволит засыпать побег? Думать нечего.

Посреди невеселых Шныревых мыслей на пути оказался вывороченный буреломом старый кедр. Ствол застрял в соснах, а переплетенные корневища, облепленные землей, образовали крышу как раз со стороны, откуда сеял дождь. Шнырь тут же завалился на сухое место, Витек зло посмотрел, но ничего не сказал, пошел с топором за сушняком, а Миша достал кресало и вырвал из бушлата клочок ваты на жгут.

Когда прогорел костер, сдвинули угли и улеглись на горячую землю, как на русскую печь. Витек сразу захрапел, Шнырь вертелся, никак не мог пристроить плечо, чтоб хоть малость притихло. Кровь, что ли, прилиwała? Сидя показалось легче переносить свою муку, он придвинулся к куче уже подернутых черным углей, разворошил их палкой, так что взметнулись искры, полыхнуло небольшое, но жаркое пламя. В неярком свете того пламени заколыхались стволы ближних сосен крупами с ноги на ногу переступающих лошадей, замахали еловые ветви лошадиными хвостами, а затем уже и явственно почудилось лошадиное отфыркивание в ночном на приречном лугу. Сноп искр как бы достиг неба, густо усеял его разнояркими полтавскими звездами. Он даже скосил голову вправо, чтоб сквозь темень разглядеть белые пятна хат родной деревеньки. И разглядел. Все Шнырево испарилось, никакого Шныря не было и быть не могло под полтавским небом, — был ясноглазый хлопчик Павло с батькой Панасом Хоменко в ночном. И спросил батько Павлика: “Как же ты, Павле, стал Шнырем? Имя какое-то нехристианское”.

“Разве вы, батьку, забыли, что в тридцать третьем мама та сестра с голоду померли? Не помните, как в Харькове на вокзале сами... С вокзала началось”.

Оттого, что привиделась последняя дрожь опавшего тела батьки на узорчатом плиточном полу харьковского вокзала, оттого, что вспомнил свой страх и безответный крик, обращенный к снующим, одетым по-городскому людям, он заметался, застонал. От Шнырева стона пробудился Миша, почувствовал холод остывшей земли и придвинулся к углям.

— Болит? Это ничего. Должно болеть. Главное — рана не серьезная, в мякоть. Помазать бы края йодом да перевязать чистым бинтом. Нет ни йода, ни бинта. А ты не тушуйся. Кость не задело, должно зажить.

— Пока рукой не двигаю, можно терпеть. Как не двигать? Другой рукой все время не удержишь.

— В больнице ее привязали бы к дощечкам и в гипс. Слушай, гипса конечно нет, а привязать к палкам можно попробовать. Сейчас подброшу в костер сушняка, чтоб не холодно было раздеваться, попробуем.

Прежнюю перевязку от раны не стал отрывать, а на новую Шныревой нательной рубахи не хватило. Нужно и к четырем палкам привязать руку по локоть, и через корпус, а потом еще ниже локтя подвязать к шее. Пришлось свою рубаху тоже пустить в дело. Пока Миша возился, зашевелилось в Шныре что-то от недавнего видения. Но, возможно, просто грызла злоба на Витька. Вот он храпит, целый. Мог за карабин хватануть, а тут бы и Шнырь подоспел. Витьку лишь бы ножом пырнуть, но и то с оглядкой. Ножом тоже мог бы малость раньше.

— Слышь? А про ксивы Витек тебе тиснул. Нету такого человека в Свердловске. Из Краснодара Витек, там и воровал. Мы погулять решили, сколько сможем.

— А я для чего вам?

— Для чего, для чего. Чтоб веселей было. Понял?

Не выходило у Шныря рассказать Мише, для чего его взяли. Если по правде, так сам себе не представлял, как это жрать человечину. Даже при мысли тошнило. Допускал, что в смертельном голоде... и слышал рассказы бывалых воров. Пожалуй, и до воров слышал. В корчах голодом удушенной Украины, в своем беспризорном детстве, то и дело слышал: там котлеты из заманутых детей, там, вроде бы, к чему-то подмешивали. Так то разговоры, и даже ежели сожрешь — не узнаешь. Не знавши, все, что хочешь, можно сожрать, а вот попробуй — знавши. Сытый Шнырь этого себе не представляет, но навидался за четверть века жизни такого, что уже уверен: нет дна, чтоб ниже его человек не опустился, когда припрет. Пока же от Мишиных трудов утихла боль в ране, и он закемарил, привалившись спиной к сосновому стволу, а Миша от тепла в холод не ушел, тем более, что перестал поливать дождь. Он понемногу подсовывал в угли огорелые концы сушняка и пытался вспомнить что-нибудь приятное из прошлого, что отвлекло бы от этой ночной тайги, от костра, которому нужно подставлять себя частями, от двух спящих подонков. Но вспомнился ему этап.

Этап вспомнился Мише от самого начала, от тюрьмы в немец-

ком городе Торгау. Солдат, набранных в заключение летом, там одели в трофейные шинели с захваченных складов вермахта. Потому население думало, что угоняют в страшную Сибирь их собратьев, пленных немцев. Столпились немецкие бабы с детишками на бугре поодаль, повысовывались из окон домов и кричали что-то оттуда.

Из-за этих бабьих проводов перескочила мысль на другие проводы, за четыре года до тюремных. Тогда Миша вышагивал не в неуставной арестантской колонне по пять — в колонне по четыре. В колонне по четыре вышагивал строевым шагом — по пермским булыгам, в новеньких офицерских ремнях, а впереди хватал за душу белогвардейским маршем без слов училищный оркестр. Слова Миша слышал раньше, с граммофонной пластинки, привезенной кем-то в тридцать девятом из захваченной части Польши.

Шпарил училищный оркестр без слов про возврат в родимый край раннею весной, рыдали трубы, словно не надеялись, но все равно тот марш обещал предел напасти и междоусобице перед лицом иноземного врага. А старушки в плюшевых салапах крестили мальчишек в офицерских шинелях, как будто не было ни революции, ни отмены Бога. Провожали Мишу русские бабы на фронт, провожают немецкие с фронта. И вот лязг поезда и бабий вой заглушают в памяти звуки музыки. Смешиваются в памяти плюшевые салопы с немецкими пальто, вой бабий по-немецки и по-русски одинаков. Уже не понять кто, откуда и куда провожает. Вся разница: теплушки с открытыми дверями — теплушки с дверями на запоре. Что колючей проволокой опутаны да прожекторами освещены, изнутри не видать. Только теснота. Где было "сорок человек — восемь лошадей", там шестьдесят зеков: сорок четыре — молодые солдаты-фронтовики, шестнадцать — старые эмигранты, коих завлекла музыка примирения. Дождались раннею весной возврата в край родимый свой. Но так сильна у некоторых многолетняя тяга, что пока и тюрьме на своей родине рады. Ждут-не дождутся пределов, в окошко решетчатое выглядывают. "Это же сколько, Фан Фаныч, верст от Одера до Вержболова\*?" Не понимают, чудачки, что ни верст, ни самого Вержболова им не оставили. Ищите версты с Вержболовым на заре века. Профукали-прокатали через Вержболово Россию туда и обратно. Теперь только обратно.

---

\* Пограничная станция Российской империи.

Те, кому пределы не светят, чудаков побаиваются. От их радости недалеко до угодничества, от угодничества недалеко до стукачества, а у одного солдата между подошвой и стелькой пронесена пилка. После границы пилку пускать в дело поздно. Потому, когда прогромыхал мост через Одер, послали к чудакам Мишу. Как интеллигента к интеллигентам.

— Господа. (Слово-то какое, из собственных уст неслыханное.) Господа. Не знаю, как у вас было, а теперь народ пошел жестокий. Ни на возраст, ни на что другое не смотрит. Кто шум подымет, того враз удушат. Если остановка, не дай Бог проверка, каждый ваш возле нашего стоять должен.

Тут один из них — на наголо стриженном черепе благородная седина угадывается — отвечает:

— Как не стыдно, молодой человек. Здесь русские офицеры, а не агенты сыскного отделения. В другом месте я бы потребовал удовлетворения.

— Что ж, попробуем добраться до другого места. Кто хочет с нами — милости просим.

— Пожалуй, стары мы под вагоны прыгать. В остальном не сомневайтесь.

Недолго дерево даже огрызком пилки пилится, даже в тесноте под нарами. Скоро ворвался в теплушку отчетливый лязг движения, не прегражденный досками. В дыре мелькает земля, присыпанная снежком, а до Одера снега не было. До Одера лучше бы бежать, была Германия — теперь Польша. Но до Одера еще не открылся человек с пилкой, только присматривался, с опаской подбирал напарников. Не много набралось готовых на ходу прыгнуть под поезд. У охраны, должно быть, большой опыт, могли приспособить под вагонами железяку. Тогда расплющит в кровавое месиво. И без железяки часовой на площадке последнего вагона может увидеть черное на белом снегу. Большинство предпочитало надеяться на Степана Бандеру. Еще в Торгау пошел слух, что в присоединенных областях гуляют бандеровцы, и не один эшелон ими освобожден, охрану стреляют, добровольцев — в партизанские отряды. Пущенный этот слухок сначала был предположением, потом оброс деталями будто бы истинных происшествий, и уже назывались точные места, которых эшелону, куда бы ни поехал, не миновать. Так тешили себя надеждой, потому что без надежды человек — ходячий труп.

Пятеро из шестидесяти надеялись на себя. И каждый из пяти за-

глянул в дыру на мелькающую заснеженную землю, и все отшатнулись. Тогда потянули из шапки бумажки с номерами, Мише выпала двойка. Помнит он эту счастливую двоечку, наклюенным огрызком карандаша выписанную на клочке газеты: чернильный верхний кружок и карандашный закрученный хвостик. У того, кто двойку выписывал, со страху во рту пересохло, на всю наклюнить карандаш не смог.

Номер первый, в нательном белье поверх верхнего, с котомкой в руках нырнул под нары, остальные там же вокруг дыры.

— Давай!

— Страшно. Братцы, страшно.

Конечно, первому страшной всех. Если железяка есть, он закричит предсмертным криком — остальные в вагоне останутся ждать освобождения от бандеровцев. Может, и привалит.

— Прыгай, гад! Честно жребий тянули.

Хватанул владелец пилки котомку первого и швырнул ее в дыру. Теперь четверо самого первого в нее заталкивают. Да не головой надо — ногами.

— Гезь, гад, не то вниз головой выбросим!

Вдруг всю эту возню покрыл выстрел. Не дремал часовой на последней площадке, не дремал. Котомку — и ту не упустил. Враз четверых из-под нар выдуло, Миша остался. В дыре мелькает земля, крохотно малая надежда, и еще можно обратно. Тогда впереди десять лет лагеря, а бывалые говорят — до гроба. Даже десять лет в двадцать один от роду — вечность. Сколько ему будет? Тридцать один? С тридцать одним смириться только на подходе год по году. Рискнуть? Пан или пропал. Не раздумывал бы, если б наполовину: чет или нечет. Но часовой даже котомку не упустил.

Мысли скачут в голове, а ноги в дыре уже, под ними мелькает земля, как будто бежит от Миши свобода. Он висит над свободой, ни туда, ни сюда. Не решается. Еще можно и так, и этак: напрячь мускулы или расслабить. Кажется, что то и другое происходит одновременно, а через минуту поздно будет, испарится надежда — навсегда останется укор: свободу упустил. И не знает он, велением воли или от усталости приняли ноги первый удар земли-свободы. Их подбросило, потом удар по коленям, по животу, по локтям — казалось, всего выдирает из кожи. И вся эта боль не заглушила ожидание худшего, ожидание, что сейчас подцепит что-то окончательное, раздерет, сплющит.

Голову приподнял, когда колесный визг, лязг сцепки отошли, приподнял голову со ртом, полным земли и снега, увидел весь, изогнувшийся на повороте, дьяволов поезд, в белом свете прожекторов, в кольцах колючей проволоки на крышах. Вихляя, удалялась стена последнего вагона с дощатой надстройкой-вышкой, с силуэтом по грудь вихляющего с вагоном часового; вихляя, он походил на чучело с опилками, что раскачивается под ударами на обучении рукопашному бою. Черную котомку на белом снегу чучело заметило, а Мишу, в натальном белье поверх верхнего, — нет.

Не знает Миша, сколько времени, замороженный удалением поезда-чудища, смотрел ему вслед, прежде чем перекатился под насыпь. Он еще лежал, привалившись к насыпи, когда зашипел пар звуком, похожим на шипение ракет фронтовой катюши, застучали шатуны, раскручивая колеса в обратную сторону. Стена с чучелом на вышке, что к великой радости удалялась, стала двигаться. Тогда вскочил на ноги, бросился в заснеженное поле, каждым касанием ноги оставляя на снегу след. А впереди не было ничего, где бы спрятаться: ни леска, ни кустика, ни домов — только небо искрилось безразличным мерцанием звезд.

Скоро его нагнали. Без лая прыгнула на спину овчарка, сшибла, рванула за ворот шинели, хрипло дышала над затылком, пока ее не оттащили чьи-то сильные руки.

— Ну, и дурак, — услышал он спокойный голос. — Кто же по свежему снегу в чистое поле бежит? Теперь с земли не подымайся, пусть тебя под руки волокут, не то зашибут до смерти. Понял?

Человек над ним замолчал, сколько-то минут прошло в молчании, лишь собака визжала и рвалась из его рук. Он не кричал на нее, не останавливал. Когда же другие подбежали, заговорил с кем-то почтительно, заискивающе, как будто просил снисхождения за сделанное не так, как надо.

— Вот он, тут он, товарищ лейтенант. Боюсь, сгоряча зашиб на-смерть сапогом в голову. Сгоряча, товарищ лейтенант.

— Его, суку, убить мало. Государственный график движения спутал.

Но, видимо, было какое-то неудобство в перевозке трупа. Может быть, списание из живых в мертвые сложное, может, знали, что ехать долго — разложится, а нужно будет предъявить. Кто их расчеты знает? Лицо парня, спасшего от первых, жестоких побоев, так и не видел, — только широкую спину, откинутую

руку с собачьим поводком. Мишу двое волокли позади, обмякшего, как в бессознании, на расслабленной шее голова болталась из стороны в сторону.

У вагона один из римлян плеснул в него ведро воды, потом приподняли, прислонили к вагонной стенке, и лейтенант самолично с такой силой приложил к его лицу кулак, что не ясно, померкло в глазах от лейтенантского кулака или от того, что голову откинуло на доски с железными болтами. Потом уже не чувствовал, как били ногами лежащего, не слышал, как остановил усердных тот же лейтенант:

— Стоп, — сказал. — Успеет подохнуть. Как прибудем на пересылку, его в карцере доморят.

В вавилонском хаосе переполненной Минской пересылки о побеге не вспоминали. Конвой ли забыл сказать впопыхах, или вообще наплевать было, когда после мучительного десятого пересчета сошлось число заключенных с реестром.

А по западным областям ночью поезд не шел, отстаивался на станциях.

Вот, значит, Миша не впервые в побеге. Но в этапе решалось часами, тут растянуто на недели, может на месяцы. И приятного воспоминания у костра не получилось, впал в дрему под воспоминание о лейтенантском кулаке. А когда разомкнул веки, день искрился первыми льдинками на лужах от вчерашнего дождя. С зимой вас, господа беглецы-каторжники.

В тот день не было такой силы, чтоб заставила забраться по шею в ледяную воду разбухших болот. Обходили болота то справа, то слева, к закату увидели кедр, от которого утром отчалили. Кровь схлынула с лица Витька при виде того кедра, побелело его лицо такой белизной, что засинела на нем пуговка носа, искривленный рот исторг вопль. Заколотил он в исступлении шестом по кедру, на каком-то замахе застыл с ним над головой, вывалился шест из рук. Витек тоже плюхнулся наземь, как подрубленный, забился руками, ногами, головой в падучей. Тут же и лицо Шныря исказила мука, он отбежал в сторону, отворотился от Витька, рука, до того не отпускавшая подвязанную руку, хватала воздух. Он дрожал от напряжения, отчаянного сопротивления заразительному припадку. Но не устоять. Миша заметался между двумя телами, они забились, как рыбы об лед. Одному сунул под голову бушлат, другого прижал к земле. Казалось, только эти

хлопоты самого спасают, чтоб не свалиться рядом. Или для падучей еще не пришло его время? Сначала еще помытарит.

Утром подались влево к лежневке. На этой стороне ходу нет из-за болот, на той, между лежневкой и рекой, — всплошную рабочие делянки. Остается перебраться через лежневку, потом через реку на ее восточный берег. Прошло это вполне удачно. Перешли полуметровую высоту бревенчатого настила при полном безлюдье, а на подходе к реке только слышали звон пил и стук топоров. В реке оказалось воды по пояс, тоже не привыкать, но пришлось забирать далеко на восток, туда подгонял шум лесоповальной работы с запада...

Все бы ничего, Шнырь стал плох. Зазнобило его, а от раны пошел дурной дух. Не ест Шнырь, только воду пьет. Сварил ему Миша бульон из последнего куска конины, что нес, оказался этот кусок и вообще последним. Теперь в их распоряжении одна болотная клюква. Как далеко уйдешь на клюкве, если бы даже Шнырь не держал? Через два дня черепашьего ходу с больным Шнырем снова задразнили-замаячили видения лагерной хлебрезки. Теперь Миша не забывал, для чего взят, переложил нож из бахилы в карман. Ночью он почти не спал, прислушивался, спит ли Витек. И тут пришло в голову: куда идет с ними? Для чего этот бессмысленный побег в страну круговой поруки, где любой в страхе от него шархнет, не просто шархнет — побежит продавать, потому что, не продав, себя обречет. В тайге же схватят ли троих, одного ли, — какая разница? Уйти ночью ничего не стоит. Кто из них станет искать? Хотя бы стали, не найдут. Сейчас подняться и вон.

Он уже сел, преодолевая страх одиночества среди безмолвных деревьев без конца и края, но оказалось, что не только он не спит. Витек приподнялся на локте:

— Ты што? Задумал чего? Брось. С голодухи подохнешь. Насчет себя не сумлевайся. Он, — кивок на Шныря, — не жилец уже. Ему так и так.

Сказано было громко, без утайки, без оглядки на то, слышит ли Шнырь. Как будто Витьку безразлично спит или слушает. Не спал Шнырь, поднялся, пошатываясь:

— Гад! Ты гад! Для тебя едино, что скотина, что человек, что вор, что мужик. Падло!

— Сядь, сядь. Раскипятился. Я, што ли, в тебя пульнул?

Сверкнуло что-то в здоровой левой руке Шныря. Или пока-

залось? Витек дернул его за ноги, тут же оказался сверху. Потом кто-то из них крикнул, Миша не разобрал, кто, отлетел в сторону, из-за сосны наблюдал, как поднялся Витек, постоял с минуту и наклонился над телом, захлопотал деловито — порол одежду. И эта деловитая разделка того, кто минуту назад был живым человеком, разделка впрок, еще ни один из них от голода не обезумел, вызвала небывалое отвращение. Отвращение собралось в комок, подступило к горлу, смешалось со злобой. Отвращение со злобой свело скулы так, что заскрежетал зубами, чтоб их разомкнуть. Сквозь сжатые зубы не выкрикнул — прорычал:

— Сволочь! Людоед! Людоед!

Застыл Витек с тем, что было в руках, и тут же с этим ринулся к нему, ткнул в лицо скользким, теплым.

— Жри, сука! Будешь и ты людоед! Куда денешься?! Жри! Жри! Захлопало по лицу, по глазам, по губам...

И тогда он выхватил нож.

Под утро первый густой снег обогатил темный лес белым. Снег быстро загладил таежные углы, так что лишь сведущий местный житель, возможно, удивится двум кочкам под снегом в неполюженном сухом месте. Да и тот наверно примет их за остатки сгнивших стволов, равнодушно пройдет мимо.

А Миша был уже далеко. Уже ему слышался визг грызущих дерево пил, стук топоров, — звуки египетского плена России.

#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА--ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ.

ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета забот иудейских", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической и духовной действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге, объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории.

300 стр.

16 долларов

Праздник

Прошли суворовцы и танки,  
Прошел районный партактив,  
И, отстояв свой норматив,  
Вожди разъехались на пьянки.

Со всех подходов к Цитадели  
Снимали частые посты,  
И ветер, маясь от безделья,  
Гонял бумажные цветы.

Уже погасло солнце в окнах,  
Сползло с высоких куполов.  
Затрепетали на полотнах  
Борцы за равенство полов.

Уже рабочее крестьянство  
На город шло, как татарва,  
Вступая с визгом и тальянкой  
В свои народные права.

Неслась калинка-да малинка,  
Плясала девка с пареньком,  
Москва гуляла по старинке,  
С лихим кабацким огоньком.

Взвивались огненные ленты,  
И в блеске пуговиц и блях,  
Как короли, ходили менты  
В парадных белых кителях.

\* \* \*

Стояла осень. Утром ранним,  
Забыв про шарф, про дождевик,  
Как на последнее свиданье,  
Я выбегал на птичий клик.

Хрустела лужа у порога.  
Слепая даль была светла.  
Окаменевшая дорога  
В леса осенние вела.

И на погосте, у дороги,  
Звенел фарфоровый венок.  
"Лишь тот божественно свободен,  
Кто бесконечно одинок", —

Гласила надпись. А осока  
Шепталась с ветром у реки,  
И небо долго и высоко  
Переплывали косяки.

#### Почти поэма

Клубился дым — хоть вешай топоры  
И ел глаза — не стыдно прослезиться.  
Толпились по углам. И расплывались лица  
Вдоль стен обглоданных, как голые стволы.

Хозяйка бегала с подносом, невпопад  
Смеялась шуткам, слов не различая.  
Закуску подмели, но было вдоволь чая,  
И оставался кислый виноград.

Царил наигранный и слишком бодрый тон,  
Как перед боем в роте новобранцев.  
Приволокли большой магнитофон,  
Для фонографии, конечно, не для танцев.

Подняв стакан, вдруг кто-то закричал:  
"За встречу там!" и выпил вдохновенно.  
На что плечами кое-кто пожал —  
Народ был, так сказать, не гомогенный.

До хрипа спорили, стоял хмельной галдеж,  
На кухне кто-то пел, и тренькала гитара,  
Как перед казнью, обнималась пара —  
В соседней комнате прощалась молодежь,

Глушила водку без помех, на посошок —  
Угар свобод обещанных был сладок,  
А где теперь евреям хорошо  
И где их, бедолаг, не переносят на дух,

Решали в коридоре старички,  
Прошедшие окопы и райкопы.  
Два литератора, толкая вверх очки,  
Перемывали косточки Европе.

Виновник торжества старательно кивал,  
Брал адреса, выслушивал советы,  
Запоминал поклоны и приветы,  
Жал руки, обнимал и целовал.

Фотографировал исход домашний врач —  
Для государственных архивов и потомства —  
И утешал себя за это вероломство  
Тем, что И. Флавий тоже был стукач.

Внезапно разразилась тишина,  
Как перед сверхъестественным явлением —  
Открылась дверь, и холодом осенним,  
Сырым, ночным пахнуло из окна.

Окно прикрыли — глупо, господа,  
Перед дорогой слечь, тем паче — перед дальней.  
Но от царившей прежде бодрости нахальной  
Уже не оставалось и следа.

Один бутылок ряд вдоль стенки расставлял,  
По-видимому, просто машинально,  
Другой вслепую в шахматы играл  
И про Исход шутил, что все же не летальный.

Какая-то неловкость завелась,  
И, как из плена, вырваться хотелось,  
Как будто приближался вынос тела,  
И отчуждение захватывало власть.

Но гости не решались уходить,  
Топтались у дверей, смолили сигареты,  
Простой порог пугал, как берег Леты,  
Просили написать, не позабыть.

Когда же все ушли и, наконец, погас  
Слепящий свет, хозяин приоткрыл фрамугу,  
Потом без памяти свалился на матрас  
И, тяжело вздохнув, обнял свою подругу.

\* \* \*

Выйдем к морю, как держава  
После длительной войны.  
Боевой кораблик ржавый  
Загорает у стены.

Море цвета ежевики.  
Маяка горит кумач.  
Солнца пляшущие блики.  
Частокол коротких матч.

Мастерские и таверны.  
Старой крепости гора.  
Пестроты невероятной  
Шлюпки, боты, катера.

И над гаванью веселой  
Чаек праздничный угар,  
Бестолковый, местечковый,  
Оглушительный базар.

## 1.

Гигантская гора полуразломанной, полусгнившей мебели заполняла все складское помещение. За долгое время лежания мебель просела, притерлась, почти срослась уже и представляла собой теперь нечто единое, целое и почти нерасторжимое. Запыленные, в подтеках, окна склада, не пропускали света, а лампы, тускло светящие где-то в недостижимой высоте, были покрыты налетом мягкой сероватой пыли и медленно покачивались среди изъеденных древесным жучком потолочных балок.

Вдоль мебели крался человек. Сжимая двумя вытянутыми руками пистолет, он медленно обходил склад.

Изящный столик в стиле "ампир", раскорячив ноги, восседал на кухонных полках. Плюшевое кресло с продавленным сиденьем стояло вверх ногами на этажерке. Разодранные диваны торчали, как айсберги, оскалась неровными рядами ржавых пружин. Платяные шкафы разинули свои бездонные пасти. Ренессанс сгибался под тяжестью поздней готики, Помпадур переплелась с Александром, модерн выставял отовсюду уродливые прямые углы, барокко позолоченными когда-то завитушками царпало и вгрызалось в окружающую мебель.

*Леонид Вайнштейн*

**МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД**

Человек двигался вокруг мебельной горы по проходу около стен. Иногда он нырял под нависающую мебель, втягивал голову в плечи, настороженно посматривал вверх, а от желания скорее пройти опасное место замедлял шаги.

Одежда его была запылена, как у прошедшего много километров путника; в двух морщинах, расходящихся под тупым углом ото рта, и в глубокой расселине, делящей лоб на две неравные части, залегла дорожная пыль. Но скорее не сегодняшняя и не вчерашняя, а такая, какую уже не отмыть и не оттереть, придающая выражение особенной усталости лицам с тонкими чертами. Нос был с горбинкой, уши, как у каратистов, приплюснуты, лоб высок, но скорее зальсиной, чем естественной высотой лба потомственного интеллигента. Лет ему на вид было тридцать пять-сорок, но могло быть и больше. Глаза же так быстро двигались из стороны в сторону, так напряженно и недоверчиво всматривались сквозь оседающую пыль в очертания полуосвещенных предметов, что разглядеть их цвет не представлялось возможным. За плечами у человека висела котомка, в которой иногда что-то позвякивало, и тогда он замирал, недовольно морщился и с особенным вниманием вглядывался и вслушивался в окружающий мир.

Человек двигался вдоль мебели уже довольно долго — и не замечал никаких признаков опасности. На одном из заворотов он осторожно высунулся из-за этажерки, подождал, затем оглянулся и, никого не обнаружив, решил на минутку остановиться и передохнуть. И только он опустил пистолет и позволил себе облокотиться на ножку стоящего дыбом александровского дивана, как позади него послышался какой-то шум. Человек прыгнул, на лету обернулся и через секунду лежал уже на земле, заостренный в направлении звука, готовый стрелять.

Пыль и перья осели, и человек увидел, что подгнившая ножка кресла сломалась, и оно упало сиденьем на торчащий угол кухонного стола. Материя лопнула, и слежавшиеся перья серо-черными хлопьями падали на пол и на мебель.

Человек немного подождал, прислушался. Везде было тихо. Тогда он вздохнул, сел на пол, спрятал пистолет и еще раз осмотрел открывшуюся ему кучу мебели... Рядом валялась отломанная ножка дивана — человек взял ее, ударил по полу, и снова прислушался. Ударил посильнее... Тишина. Он встал и ударил ножкой по платяному шкафу. Вышло так громко, что человек

сам перепугался. Но звук гас в мебели, не откликаясь даже эхом. Человек швырнул ножку в сторону, пнул ногой пуфик, высу- нувшийся из шкафа, свистнул лихо, ударил сам себя несколько раз по коленям и один раз ладонью по бедру и пошел к оставлен- ной им на полу котомке. Он запустил туда руку, пошуровал с видимым удовольствием, перебирая имеющиеся там предметы, а затем вытащил аккуратно запрятаный и сохраненный окурок. Прислонился к стене, прикурил и еще раз, теперь уже совсем другим взглядом, посмотрел на мебель: “Не пыхнула бы, дрянь, в рожу”, — подумал он вслух, затянулся еще пару раз, с сожалением взглянул на окурок и загасил его о подошву. Затем положи- л на пол, аккуратно растер носком ботинка и для пущей вер- ности еще и плюнул на него, но не попал. После этого он снова завязал котомку, перекинул ее через плечо и пошел заканчивать обход. Он шел все еще осторожно, опасаясь неизвестно чего, ско- рее просто не отвыкнув еще бояться. Но он шел уже, как хо- зяин, оценивая, запоминая, соображая что-то про себя. Дошел до громадного конторского стола, попытался добраться до ящиков и открыть их, но не смог и в отместку стукнул кулаком по его полированной поверхности: “Прохвосты! Ну, прохвосты! На каждом шагу. Как я вас не люблю, сволочи, ох, как не люблю!..” — он посмотрел на мебель, по которой заструились вдруг лучи про- рвавшегося сквозь паутину и пыль солнца, махнул рукой и пошел дальше: “Но я предупредил их: вы берете меня на работу! На ра- боту, и все дела. Мне идет зарплата, а там хоть огнем гори...” — ска- зал он вдруг с непонятным ожесточением и злостью.

Пыль столбом поднималась по редким лучам солнца и медленно кружилась между беспорядочно сваленной мебелью. Пахло давно сгнившей капустой.

“Я это дело порушу, — подумал человек. — Я приведу это в порядок, в надлежащий порядок”. Он втянул в себя воздух, по- морщился и остановился: “Пора начинать”, — он осмотрелся, по- качал кучу сваленной кухонной мебели и полез по ней наверх — до удобно стоящего на куче дивана. Расположившись на нем, как на вокзальной скамейке, он снова открыл свою котомку и достал оттуда пакет с едой, завернутой в промасленную бумагу. Вынул яйцо, хлеб, помидоры, огурец, кулек с солью и разложил все это в нужном порядке. Аккуратно макнул огурец в соль и от- кусил. Огурец смачно хрустнул, и человек блаженно откинулся на спинку дивана. Вдруг он увидел, что из мебели, в трех-четырех

метра от него, торчит голова. Он поперхнулся, расширенными от ужаса глазами глядя на высунувшуюся голову. Огляделся и увидел, как с другой стороны показалась вторая.

Оба чужака уставились немигающим взглядом на разложенную на диване снедь. Первый, не отрывая глаз от яиц, огурцов и помидор, начал медленно выбираться наружу, не обращая при этом ни малейшего внимания на человека.

Человек застрелял глазами по сторонам; рука его, как при замедленной киносъемке, поплыла к котомке, в которой лежал пистолет... Но остановилась, замерла и поползла обратно, будто наткнулась на невидимую преграду. И снова опустилась на колени — недалеко от выбравшегося уже на мебель первого чужака торчали рядышком еще две головы. Они так же безмолвно и сосредоточенно смотрели на первого, как первый на еду. Человек оказался как бы вне действия и наблюдал будто со стороны за медленно разворачивающейся картиной. Все мысли его, восприятие, анализ и оценка были молниеносными, быстрее даже и отчетливее, чем в обычной ситуации. Кроме того, какие-то слова отпечатывались и проносились в его мозгу со скоростью телеграфной передачи, складываясь иногда параллельно мыслям в предложения законченного, но непонятного смысла, а иногда ударяясь друг о друга и со звоном разлетаясь. Но тело отказывалось повиноваться разноречивым и сбивчивым приказам, пришедшим из этого "надмыслия" и как бы совершенно самостоятельно, отдельно плыло спокойно и медленно в безвоздушном пространстве мебельного склада. И человек, как за чем-то чужим, наблюдал краем глаза за этим странным движением, и от этого ужас еще больше охватывал его. В горле у человека заклекотало, пузырь напряжения лопнул; и хрип и крик продрались наружу, смешиваясь и дополняя друг друга. Вышло: "Нахад-аркари!" — а потом: "Непахадри!" — и только после этого: "Не подходи! Не смей! Не подходи ко мне! Не-е-е-т!!!"

Между тем тот, первый, все лез и лез и был уже совсем близко от дивана, по-прежнему не обращая на человека ни малейшего внимания, как будто его и не было вовсе.

"Я уйду, возьмите все! Я уйду! Меня прислали сюда... — шептал и хрипел человек. — Я не знал, что здесь кто-то есть. Я не знал!.. Я в атаку ходил! На танки! Я на танки в атаку ходил!" — так он кричал, корчась от страха в углу дивана. Страх свой он бы и сам не смог объяснить себе, но, как он понял потом, было в по-

ведении и во всем облике тех, чужих, что-то бесконечно странное и отталкивающее, внушавшее ужас и отвращение. Какая-то нечеловеческая застывшая маска вместо лица, движения одновременно и человеческие, и нечеловеческие, и полное отсутствие видимых контактов как между теми, четырьмя, так и между ними и окружающим миром.

Первый добрался до дивана, схватил всю разложенную еду, прижал ее к себе и дернулся куда-то в сторону, чтобы убежать, но споткнулся, упал и покатился вниз по мебели. Остальные тут же ринулись к нему — падая, спотыкаясь, переползая через завалы. Все это молча, с неизменным выражением сосредоточенного неприсутствия на лицах. Первый приподнялся, сел и стал торопливо запихивать в рот сбереженную еду. Остальные добрались до него и вот уже рвали куски у него из рук, прижимали к себе, засовывали во рты. Через секунду, когда они откатились и скрылись с мебели, первый, все с тем же бессмысленным выражением лица, остался на груде мебели, ощупывая себя, подбирая крошки и тут же проглатывая их.

Человек шумно сглотнул. Тотчас из мебели появилась еще одна голова и, безучастно разглядев место действия, скрылась. Первый стал на четвереньки и снова пополз наверх, к дивану.

“Эй”, — человек начал оправляться от испуга, но еще не знал, как себя вести. “Эй! — Он пытался настроиться на участливый, дружеский тон. — Как они тебя... суки! Эй!” Он даже протянул руку навстречу тому, то ли для того, чтобы похлопать его по плечу, то ли, чтобы помочь подняться. Но рука повисла в воздухе, и он поспешил убрать ее. Чужак добрался до дивана, осмотрел его, даже пощупал — еды больше нигде не было, и он повернулся сходить.

“Стой! — Человек вскочил на ноги, но подойти побоялся. — Куда ты, приятель?.. Эй, а что со мной?” Но чужак уже скрылся в мебели. Человек, чуть повременив, бросился к тому месту, где он исчез, но входа не обнаружил. Он искал немного — никакой возможности пробраться внутрь слежавшейся, спрессованной груды мебели не было. Тогда, осторожно балансируя на куче, человек дошел обратно до дивана и в изнеможении упал на него. Ему нужно было время, чтобы осмыслить и понять происходящее. Забившись в угол дивана, он затравленно оглядывался, соображал что-то, тяжело ворочая мозгами, и при этом бормотал: “Подонки... Зверье... Ах, подонки... Звери. Звери!” —

крикнул он громко и тут же, чтобы успокоиться, стал стучать ладонью по колену. Ритм чуть успокоил его, и он, прикрыв глаза, стал выстукивать уже что-то более сложное, втянулся, начал трястись в ритме всем телом, помогая себе голосом, второй рукой, подпрыгивая, — и вдруг что-то внутри мебели обрушилось, сломавшись, и он упал вместе с диваном и распластался на острых, выступающих углах.

Из мебели показалась голова одного из Чужаков. Чужак застыл, уставя свой бессмысленный взор на человека. “Идиот! Подонок! Дрянь! Сука!” — заорал ему человек. Голова скрылась, а человек, поняв, что он наделал, торопливо слез с мебели, сел на корточки на полу у стены и закрыл голову руками. Так он сидел некоторое время, тяжело сопел и всхлипывал, а потом осторожно глянул из-под руки, всхлипнул еще пару раз для видимости и огляделся. Коридорчик между стеной и мебелью был пуст. По-прежнему было тихо, и по-прежнему плавала пыль в редких лучах солнца.

Человек засмеялся; смех захватил его, тряс, выстукивал барабанную дробь в грудной клетке, молоточками бил по подколенным нервам. Прекратил смеяться он так же внезапно, как и начал. И тут же уголки губ опустились, глаза почти закрылись тяжелыми веками, на лице появилось брезгливое выражение усталого от государственных дел царедворца. “Идиот. Тупой идиот! Тупой идиот! Что! что! что!” — он выпрямился и закричал во весь голос: “Эй! Вылезайте! Я хочу говорить с вами!” — ни звука в ответ: “Вам же жрать нечего, а мир лопается от избытка еды! Небось хреново самим на этом мебельном кладбище!.. Вылезайте, поговорим!” — ни один из Чужаков не появился. Тогда человек полез на мебель: “Я до вас сам доберусь”, — он осматривал все расщелины, открывал дверцы шкафов, засовывал голову под комоды и буфеты — влезть внутрь не было никакой возможности. Когда он очутился почти на самом гребне и устало оглянулся на пройденную дорогу, то увидел, как один из Чужаков вынырнул из мебели и, пройдя два метра, тут же опять скрылся в куче. Все произошло в том месте, где он только что тщательно осмотрел каждую щелочку и ни входа, ни выхода не обнаружил. Он тут же спустился вниз и снова принялся за поиски... Ни там, где Чужак вылез из мебели, ни там, где он в нее влез, сделать это не было никакой возможности. Человек еще покачал для пущей верности спрессованную мебель, но уже был уверен, что

никакого лаза в ней не откроется. Тогда он снова слез вниз, на пол. Теперь он пошел вдоль мебели, пытаясь выдернуть "опорные" вещи, обрушить хоть часть мебели, чтобы заставить обитателей вылезти наружу либо там, в глубине, обнаружить ход в их жилище.

Но мебель не поддавалась усилиям одного, маленького человека. Она лежала так, будто веками уже занимала именно это положение и собиралась еще долгие годы тихо гнить и разрушаться в этом складе. Тогда он понял, что натиском, в лоб ничего сделать нельзя.

"Эй! Я пришел помочь вам! По-мочь! Вам! Я знаю, как разбирать такие завалы. Меня научили. Мы очистим его и сожжем ненужное. Вот тут будут ровные ряды диванов и мягких кресел. Здесь — библиотека. Здесь детские комнаты. Детям надо много света. Надо будет разобрать мебель от окон и вымыть стекла... Здесь будет смех, детский смех. У меня-то у самого нет детей, но я понимаю это, когда мягкие, слабенькие детские ручонки обвиваются вокруг шеи. У детей должно быть свое место. Безопасное место. Такое место, где не рвутся бомбы и не летают в воздухе куски человеческого мяса. Мы расчистим этот склад и отдадим его детям. Я говорю "Мы", потому что уверен, что вы поймете меня, что вы поможете мне", — человек прислушался, не раздастся ли какой-нибудь звук... Тишина.

"Сволочи", — пробормотал он тихонечко: "Подонки. Везде подонки. И сволочи везде. Плюнуть некуда", — и он смачно плюнул. Потом соорудил гримасу, как у Чужаков, и стал искать зеркало, чтобы посмотреть на себя — нашел шкаф с зеркальной дверцей, стоящий среди мебели, залез между ножек столов и стульев и долго и удивленно рассматривал себя с новым лицом. Потом попытался улыбнуться. Ничего не вышло. Новое "выражение" будто прилипло к лицу и не сходило. Он забеспокоился, растягивая рот в улыбке, попытался пошевелить носом, собрать лоб в морщины — и вдруг уши его задвигались. Он удивился, наблюдая это самопроизвольное движение собственных ушей, и приставшая к лицу маска сошла.

Он вылез из мебели и чуть не наткнулся на стоящего совсем рядом Чужака. Чужак своим отсутствующим, потусторонним взглядом смотрел на столб солнечного луча, в котором играли пылинки и блеснул глаз чудовищной рыбы на инкрустированной спинке двуспальной кровати. Человек сначала испугался

и собрался удрать, но потом передумал, набрал воздуха в легкие, хлопнул в ладоши под самым ухом у Чужака и постарался рассмеяться. Чужак не обернулся, не вздрогнул даже. Он просто сделал шаг вперед и растворился в мебели. Человек бросился к тому же месту — входа нигде не было. Тогда он стал трясти мебель, выламывать ее, пытаюсь разломать, разорвать хоть что-то. При этом он кричал, ругался и плакал от злости.

Потом, глубоко дыша, он отошел в сторону, прислонился к стенке, отер пот и окинул взглядом nepотревоженную гору мебели.

“А вот бегемот”, — сказал он и задумался: “Бегемот. Вылезает из своей речки, идет и писает... полукругом. Подковой. От реки и до реки. Огораживает, делит мир на две части. Это мое. Мое! Ура бегемотам... Никогда ничего своего не было — ни угла, ни кровати. Ни стенки, чтобы гвоздь вбить, ни гвоздя... Эй!” — человек пошел вдоль мебели: “Эй!” — он кричал в полный голос: “Эй!” — голова одного из Чужаков появилась вдруг совсем близко от человека и уставилась на него, не мигая. “Гоголя читал, подонок?” — голова продолжала неподвижно торчать среди мебели: “Хома Брут тоже круг очертил. Очертил и сидел в нем. Две ночи сидел, а на третью вытащили. Все равно вытащили!” — голова скрылась, он погрозил ей пальцем вслед и понурясь отправился искать свою котомку.

“Ну и плевать. Надо начинать свое дело. Разбирать, сортировать... Если бы они только знали, какая машина стоит у меня за спиной. Какая отлично налаженная машина! Стоит мне отойти, устраниться... и чуть толкнуть — и их раздавит. Вот так! Бум, и все. Бум, и раздавит. Трах — и нету. Шандарах — и крышка. Бух, трах, шандарах... та-та-та-та-та!!” — кричал человек, имитируя пулеметную очередь: “Какое мне до них дело. Надо начинать. Я начинаю!” — снова закричал он.

Он подошел к мебели и стал осторожно высвобождать из сплетения ножек, спинок, ремней, ручек сначала кровать, потом письменный стол, кресло-качалку; потом нашел корзину для бумаг, старинную лампу с зеленым абажуром, телефон. Из всех этих предметов он построил себе комнату, подключил свет, телефон. Во время работы он пел и бормотал себе под нос, стараясь двигаться в ритме “песни”.

Прохвосты, прохвосты, прохвосты,  
Прохвосты на каждом шагу

Пойдешь покупать абрикосы,  
Обманут тебя на бегу.

У-у! У-у! Обманут тебя на бегу  
У-у! У-у! С прохвостами жить не могу!

А знают ли господа, что капля камень точит? Господа этого не знают. Господа не знают простых истин. Господам есть чему поучиться у маленькой глупенькой капли, которой в данный момент является их покорный слуга.

Попробуй включи телевизор  
Там рожей лоснится прохвост...

Какая же рифма на “телевизор”? “Провизор”, что ли? “Я сам по себе, а ты сам по себе. Ты меня не трогай и я тебя не трону” — вот такая рифма на телевизор. “У-у! У-у!” — так он ходил, пел, бормотал, покрикивал и строил себе комнатку — маленькое убежище у подножия мебельной горы, на берегу мебельного океана.

Когда комната была готова, человек начал медленно обходить и гладить все эти вещи, которые он мог теперь считать своими. Плюхнулся на диван, ударил по нему ладонью — пыль взлетела столбом. Он отплевался и поцеловал свой диван. Встал, ощупал стол так, будто он впервые в жизни видит стол. Сел в кресло-качалку, покачался, запел что-то лирическое и вдруг, сорвавшись с места, зажег лампу на столе: “Это маяк. Маяк на берегу океана мебели. И любому заблудившемуся, потерявшему направление, он будет ориентиром. Это маяк”.

Он сел к столу, взял телефон, позвонил куда-то. Послушал, как там “алекают”; медленно, улыбаясь, положил трубку: “Ну вот что, вылезайте! Хватит играть, хватит валять дурака. Мне это надоело!” Он подождал немного. Ничего. Тишина. Вдруг начала куковать кукушка настенных часов. Человек сорвался с места, нашел в груди мебели бьющие часы и отвернул кукушке голову. Вернулся обратно в свою комнату, открыл котомку, достал краюху хлеба, оторвал от нее половину, остальное положил обратно и закрыл котомку. С куском хлеба в руках он вышел на открытое пространство и стал ждать. Сначала он ждал спокойно, уверенный в себе, зная до слова все, что он хочет сказать, но потом вдруг занервничал, заходил из стороны в сторону, бросился на какой-то подозрительный шум и вдруг замер. Из мебели появился один из тех, вытягивая что-то на поверхность.

И человек, вместо того, чтобы, как он и собирался, спокойно сказать эти свои слова, резонно обосновать их, облечь в законченную, логическую форму, вдруг закуковал, как кукушка со стенных часов: “Ку-ку! Ку-ку!” Чужак обернулся и уставился на человека. Тогда человек поднял вверх краюху хлеба, повертел ею, знаками и ужимками объясняя, какая она аппетитная, как вкусно ее съесть. Потом он положил краюху на землю и отошел в сторону. Чужак тут же начал спускаться вниз. Когда он был уже почти у цели, человек выскочил вперед и заслонил лежащую на земле краюху.

— Я только хотел сообщить вашему лидеру, что, по моему мнению, существует необходимость в переговорах. Неплохо бы обсудить принципы сосуществования, раз уж так вышло... — забарабанил он. — Если, конечно, вы не претендуете на всю территорию складских помещений... хотя, это было бы, по меньшей мере, странно... склады принадлежат государству... народу вообще-то, но всему... а не какой-то его части.

“Я бы хотел, — продолжал он, еще более нервничая и торопясь, — установить некие производственные взаимоотношения. У меня есть хлеб. У вас сила, так сказать, рабочая. Если вы согласны или если готовы обсудить, то жду... а залогом моих добрых намерений — вот!..” — и он отошел в сторону. Чужак взял хлеб и нырнул в мебель.

“Взял, клюнул... придут!” — пронеслось в голове у человека. Он бросился к своему жилищу. Остановился, как вкопанный. Бросился обратно, к тому месту, где исчез Чужак. С разбегу затормозил перед грудой мебели. Махнул рукой и дернулся обратно.

— Дьявол его подери, забыл! Забыл выяснить, сколько их придет. Вдруг придут все! Что же делать? А сколько их? Я видел четырех, значит, не меньше четырех... Может быть, и меньше. Может, очень может быть. Или больше... Сто? Сто сорок три?.. Глупости... Запросто может быть сто сорок три, или сто сорок семь, скажем. Или еще больше. А я их не видел! — Человек расстроено плюхнулся в кресло-качалку, и оно заходило под ним ходунком. — Америку, вот, никогда никто не видел, а она существует. Опять же — сон я вчера видел? Точно видел. А его нет. Где он? — и человек начал искать сон под столом, в ящиках, в мусорном ведре, под кроватью. И нашел под кроватью большую жестяную рыбу и колокольчик. Вылезая из-под кровати со своими находка-

ми, он удивленно их рассматривал и даже позвонил в колокольчик, но тут же зажал его и заглушил звук.

“Это знак. Точно знак, какой-то знак. Но какой?” — он прижал к себе рыбу и зашагал с ней по комнате, укачивая ее, словно ребенка. Колокольчик тихо позвякивал в такт. “Недоучился. Вот ведь вдруг и вылезло. Вылезло все-таки!” — он повертел рыбу и так, и эдак, пытаясь найти хоть какую-нибудь надпись, но не нашел, осторожно положил ее на стол и принялся за колокольчик.

Колокольчик был самый обыкновенный. Такой, каким в школах вызывают перемены. Он поднял его над головой и после секундного колебания позвонил. “Красивый звук”, — сказал он нарочито громко. Затем повесил колокольчик на спинку кровати, посмотрел на часы и сел ждать.

“А вот сон я так и не нашел, — опять пронеслась та же странная мысль у него в мозгу. — А он точно был”, — и в подтверждение этому, он энергично мотнул два раза головой, что, мол, точно был. Кресло закачалось, а человек закрыл глаза и снова попытался увидеть тот же сон: “Вот же он, вот!” — закричал он и вскочил с кресла.

На гребне мебельной горы что-то зашумело, и из нее вынырнули трое, а потом еще один. Они начали спускаться вниз, точно повторяя движения друг друга, составляя как бы единый механизм, одинаково переставляя ноги, одинаково двигая руками, но в то же время и совершенно отдельно, не обращая друг на друга ни малейшего внимания, будто бы даже не замечая друг друга.

Человек моментально выпрямил спину, незаметно одернул рубашку и принял позу радушную, но независимую. Он как бы хотел сказать, что это он сделал большое одолжение, согласившись обсуждать с ними что-то, согласившись на переговоры...

Один из Чужаков, пролезая мимо окна, попал в солнечный луч и остановился. Он рассматривал свою ладонь и солнечный зайчик на ней. Потом стал водить в луче рукой. Остальные остановились и тем же, ничего не выражающим взглядом следили за его действиями.

Человек подождал немного, а потом осторожно взобрался по мебели к окну и своей рукой перекрыл луч. Чужаки постояли еще немного в тех же позах, в которых застыли, и вдруг, разойдясь в разные стороны, исчезли в мебели.

Человек, сбитый с толку, совершенно обескураженный происходящим, спустился вниз. Он подставил руку под тот же солнечный луч и поводил ею, как это только что делал Чужак, а потом попытался ударить луч кулаком.

“Все! Начинаю разбирать. Пусть обрушится на них — не мое дело. Чтобы построить новый, прекрасный и светлый дом, необходимо разрушить старый. Это неминуемо”, — он начал старательно раскачивать и вытаскивать громадный шкаф, на котором держалось много мебели. Делал он это неторопливо, обстоятельно, сантиметр за сантиметром высвобождая шкаф-гигант из вцепившейся в него мебели. “Когда молодым был, так у меня и не такие идеи были, — сказал он решительно, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Я даже летал! Да-да-с! Летал-с!” — он удовлетворенно хмыкнул, вынул из шкафа дверцу, отставил ее в сторону, и ладонью похлопал себя по лбу.

“Теперь все будет не так, — сказал он сам себе. — Пусть это не мои идеи, но я получаю зарплату... Я научу их жить и строить. И разбирать. И искать пищу, сносить ее сюда, распределять и съедать всем вместе. Для этих бедняг это и будет счастьем... и всегда буду держать себя с ними, как равный. Никогда, никогда не почувствуют они разницы... никогда!” — из-за мебели послышался шум. Человек хотел пойти, посмотреть, в чем дело, но заставил себя сдержаться и продолжать свое дело. Но выдержал он недолго и побежал одним только глазком взглянуть — и тут же вернуться...

Один из Чужаков тянул канат, привязанный к чему-то в глубине груды мебели. Он напрягался, упирался ногами, тащил, глубоко при этом дыша; капельки пота выступили у него на лбу. Но это “что-то”, там, внутри, было, видимо, ему не по силам... Вокруг него, из мебели, высовывались еще двое и смотрели на его усилия, но не трогались с места. “Вот и первая возможность научить их чему-то”, — подумал человек, поплевал на ладони и взялся за конец каната... Тогда тянущий отошел в сторону и, нырнув в мебель, обернулся и уставился на человека.

“Ладно, я буду помогать вам, даже если вы и не хотите этого”, — решил человек после секундного замешательства. Он хорошо уперся, натянул канат, дернул... и упал, не рассчитав усилия. Канат, привязанный к оторвавшейся ножке дивана, валялся рядом с ним. Чужаки исчезли.

## 2.

Человек торопился. Действия его были подчинены теперь определенной цели, но лихорадочность их выдавала его волнение. Он вытащил из груды мебели большую железную кровать с никелированными шарами на спинках, поставил ее "на попа" так, что железная сетка, как тюремная решетка, разделила мир напополам. Затем он навалил перед кроватью кучу другой мебели, снятой им с вершины горы и с трудом перетащенной вниз. Создалась некая конструкция, на первый взгляд составлявшая часть беспорядочно сваленной и спрессованной мебельной горы, но на самом деле являвшаяся хитроумной ловушкой, готовой закрыться в тот момент, когда ее конструктор этого пожелает. Затем он привязал оставшуюся от чужаков веревку к подпорке, поддерживающей "засов", и достал из своей котомки оставшийся кусок хлеба. Хотел разломить его снова на две части, но передумал и, откусив от него кусочек, положил его на чистое пространство у железной кровати. Теперь ловушка была окончательно готова и оставалось только терпеливо ждать дичь.

"Дичь" не заставила себя долго ждать. Один из Чужаков появился вскоре из груды мебели, не слишком далеко от "мышеловки". Человек сглотнул и начал притворно шумно чавкать. Чужак остановился, обернул свое мертвое лицо к человеку и застыл. Тогда человек отвернулся от него и начал пристально рассматривать лежащий на полу кусок хлеба, краем глаза наблюдая все же за действиями Чужака.

Как только тот заметил хлеб, он тут же снова нырнул в мебель и выбрался из нее совсем близко от кровати. Потрогал ее решетку, попытался протянуть руку сквозь прутья, но не дотянулся и перелез на другую сторону. В ту же секунду человек дернул за веревку, подпорка вылетела и вся эта сложная конструкция вместо того, чтобы просто закрыться, обрушилась на Чужака. Чужак оказался припертым к железной сетке, придавленным к ней обрушившейся мебелью.

Человек бросился к нему, наваливая еще что-то, укрепляя, проверяя прочность силков. И лишь после того, как убедился, что Чужаку не сбежать, скатился на землю. Торжествующий вопль вырвался из его глотки. Но он тут же обеими руками заткнул себе рот, присел и захихикал. Затем, справившись с нервным при-

ступом, медленно поднялся и подошел поближе к Чужаку. Осматривая его, он хмурился все больше и больше.

“Я же звал, я же просил прийти”, — сказал он, недоверчиво всматриваясь в пустые глаза Чужака. Затем, точно проверяя что-то, наклонил голову и попытался улыбнуться. Улыбка получилась половинчатая, одними губами, и оттого скверная. Очевидно он сам почувствовал это и потому отбежал в сторону и лицо его покраснелось от гнева: “Я же просил! Все было бы по-другому. А теперь я буду спрашивать, а ты отвечать!” — Он подтащил кресло, поставил его прямо напротив пойманного Чужака. “На все вопросы ответишь. На все!” — он закачался в кресле, а потом поддался вперед, чуть не выпадая из него; глядя Чужаку прямо в глаза, стал быстро говорить: “Сначала ты мне расскажешь кто вы такие, что тут делаете. Потом — откуда взялись, почему “там” о вас ничего не известно. Вас ведь раньше не было! Не было. Я все хочу знать. Мне это просто необходимо знать. А раз необходимо — ты понимаешь? Раз необходимо, то я буду знать. Я Человек!” — и он торжественно ткнул себя пальцем в грудь. — “Че-ло-век! А ты кто? Кто ты?” — и он, замерев от волнения, уставился на Чужака.

Чужак только молча смотрел на него. В лице его ничего не изменилось, ни одна мысль не дрогнула искоркой в глазах, мускулов у уголков губ.

“Не понимаешь? Я человек. Я вот так делаю... и так, — и человек стал показывать, как он ест, пьет, как ходит, как сидит на унитазе, тужится. — Вот как я делаю. А ты как делаешь? Когда мне плохо, я плачу, я рву на себе волосы. Вот так. А ты? Как вы туда пробираетесь? Почему я не могу? Как мне пробраться внутрь? Я хочу к вам, внутрь... Ну, расскажи мне... Я человек-тайна, человек-могила. Ты мне сказал, я забыл. И никто не узнает, что ты мне это сказал... Если вы делаете там что-то нужное, что-то важное, я готов быть с вами, вместе с вами, только бы это не противоречило моим принципам. У меня есть еще два три принципа, и мне бы очень не хотелось... — сказал он извиняющимся тоном. — Хотя, конечно, что же это за принципы? Так, пустяки! У других, я слышал... а у меня, так... Да и вообще, я на зарплате. Я болтун вообще-то, но я никому ничего. Страшный болтун... Мне страшно иногда бывает, — сказал он, понизив голос и оглядевшись. — Страшно. Одному. Я для этого свет зажег, потому что боюсь. Неизвестно чего. То что у меня рак, то собственных шагов. Думаю, за мной гонится кто! А кому я нужен. — Он

нервно заходил перед мебелью и снова остановился около Чужака. — И все время кажется, что кто-то из-за угла на меня смотрит... Вот и сейчас. Но я знаю, что никого нет, почти совсем никого. А когда я с тобой, то не боюсь. Скажи, ты на меня никогда из темноты не смотрел?.. Нет, конечно нет! Зачем тебе меня пугать, правда?! Правда! — человек побледнел и с вниманием вглядывался в непроницаемое лицо Чужака. — Ну, скажи мне, что не будешь пугать, что ты на меня не будешь смотреть. — Он постоял около Чужака еще немного, потянулся к нему всем телом и что-то зашептал, но вдруг закрыл лицо руками и закричал. — Не смотри на меня! — глянул из-под рук и снова закрылся. — Я тебе говорю, не смотри! Что же это! Почему мне! Чем я тебя прогневил, Господи? Что я сделал такого, особенного, чего другие не делали?.. Или чего не сделал, что должен был? Скажи, скажи мне, какой кары ты вестник? Я хочу знать! Я не могу так, в неизвестности. Один. Не могу один, совсем один, без себе подобных... За что? Чего ожидать мне? Пусть самое страшное, но знать. Я же не убегу от Тебя, куда мне! Я даже не попытаюсь. От Тебя не убежишь. Я не скажу: "Помилуй!" Скажу, скажу, уже кричу: "Помилуй! Помилуй меня? Почему я, почему не другой? А может, каждому уготовил Ты? Что привело нас всех, что держит? Почему я не могу уйти? Почему жертва — Я? Я хочу еще чуть-чуть жить. Прости... Я не столь плох. Ты-то должен был знать это. Да! Да, я преступил заповедь Твою, но все, совершенно все, кого я знаю, кого не знаю, кого знать не хочу — они все преступили! И когда говорят, что людям служат, так они просто от служения удовольствие получают. И когда любят кого-то и жизнь готовы отдать — жизнь! — так им того и нужно. Они себя этим тешат. Ради друга рубашку последнюю отдаст, руку правую — так ему же того и хочется. Это он для себя рубашечку-то скинет, руку оттяпает. Все врут. Я не вру. За что меня? Почему именно я? Я достану Тебе агнца первородного, достану!" — человек отшвырнул свое кресло-качалку, стал подбирать валяющиеся на земле обломки и куски мебели, чтобы сложить у ног Чужака костер. При этом он пел, бормотал и временами выкрикивал: "Алилуйя!" Сложив костер, он зажег его и опустился перед ним на колени: "Отпусти грехи мои, дай уйти! Я построю Тебе дом Твой. Не для людей, для Тебя построю дом... И я, я пытался проникнуть в святая святых — в помыслы Твои, в цели посланников Твоих, Твоих избранных! Я — червь, я — козявка, моль!.."

Он плакал уже, бил себя по телу, по лицу, кланялся и причитал: "Прости меня, молю, прости меня, скажи хоть слово устами вестников Своих, подай лучик надежды, скажи, подай хоть знак..."

Он остановился, запнувшись, встретившись взглядом с Чужаком. Скулы человека сдвинулись, явственно обозначая желваки, и в глазах появился недобрый блеск. "Скажи хоть слово, скажи! Мне это так важно, так нужно для всей моей жизни..." Чужак молчал, и тогда Человек передвинул костер поближе к его ногам.

"Скажи, ну, скажи, подай знак..." — Он еще пододвинул костер, взгляд был уже лихорадочен, а речь отрывиста. Костер почти опалил ноги Чужака. "Хоть одно слово! Хоть одно! Мне это так нужно. Слово, скажи... Подонки!" — и человек, не выдержав, бросился на Чужака, дотянулся до него сквозь мебель и стал рвать его, душить, бить, царапать — и вдруг откатился от него, поняв, что тот мертв.

Человек бросился в одну сторону, в другую, проверяя, не видел ли кто, и начал поспешно освобождать тело убитого из распявшей его мебели. Он бесшумно завыл, "заводя" самого себя:

Стальные кольца гранат  
Мы рвем зубами стальными  
На горле врага  
оставят следы  
Ласки нашей любви.

Человек бесшумно взобрался на мебель, устроился за этажеркой и стал ждать. Начали бить часы, и в ответ им закуковала еще одна кукушка. Человек затаил дыхание и замер, изредка бросая злобные взгляды в сторону кукушки. В это время из мебели на пол вылез еще один из Чужаков. Человек вынул нож и прыгнул, отрезая Чужаку путь к отступлению.

"Кто вы? Быстро! Кто ты? Что вы здесь делаете? Сколько вас? Ну! Отвечать!" — и он несколько раз уколол застывшего Чужака ножом.

"Вы только здесь или везде? Ну! А может, вы и есть "то"? То, что жить не дает. То самое, а? И я тебя поймал, а? Может? — говоря это, человек возбуждался и покалывал Чужака все сильнее и сильнее. — В детстве, когда маленьким был, не совсем чтобы маленьким, а так, небольшой — вдруг голоса слышал. Ваши? В тишине меня кто-то по имени звал — кто? Или вздохнет вдруг за спиной — почему? Почему всегда за спиной? Я тоже ведь могу

ножик в спину, чтобы тихо, чтобы все в порядке, чтобы в глаза не смотреть!.. А смех?! Кто надо мной всю жизнь смеялся? Ты? Когда постарше уже стал — все время смех. Все время. Ох, этот смех! Кто, кто смеялся? Над кем? Надо мной? Говори, не молчи, тебе же больно!.. Что во мне такого смешного есть?” — и человек вдруг полоснул Чужака по руке. Хлынула кровь. Чужак поднял руку к лицу и рассматривал ее удивленно, как чужую.

“Я знаю, что больно. Не может не быть больно. Человеку должно быть больно. А сейчас? Сейчас должно быть еще больнее. О, как тебе больно!.. Я бы не выдержал. Нет, ты не человек. А я человек. Я человек, я многого не могу выдержать. Я не могу выдержать, что я человек. А ты нет. Кто ты? Кто ты? Сволочь, грязная гадина, скотина, подонок!..” — и он, не сдерживаясь, стал бить Чужака ножом. Он ударил его несчетное количество раз и продолжал бить уже лежащего, уже бездыханного.

Потом вытер нож о дрожащую ладонь, засунул его за пояс и с ненавистью посмотрел на мебель. Костер, зажженный им в мистическом экстазе, еще тлел.

Он отодрал обшивку с кресла, поджег ее и бросил на полу-сгнивший диван — диван тут же вспыхнул. Глаза человека расширились, он что есть силы ударил по дивану железным прутком. Трухлявый диван разлетелся на тысячи пылающих кусков. Теперь горела уже вся окружающая мебель.

“Я доберусь до вас! Я все-таки доберусь до вас!” — то ли пролаял, то ли прокричал человек. Он схватил матрац с кровати из своей комнаты и, действуя им, как тараном, стал расшвыривать горящую мебель. Остановившись на секунду, он выхватил пистолет и начал стрелять в центр мебельной горы. После одного из выстрелов он услышал сдавленный крик. Человек оскалился и заорал в вышину: “Вы у меня завершите! Вы у меня завоюете!” — и он заплясал у огня, охваченный радостью разрушения. Горящая мебель обрушивалась и распадалась под тяжестью собственного веса. Огонь полыхал уже и в центре горы, и с боков, и на ее вершине.

Наконец, со страшным грохотом, верхушка провалилась, гора всколыхнулась, по ней прошла трещина и мебель распалась в стороны.

Человек, осторожно ступая по горящим обломкам и все еще держа в руках матрац — то ли как оружие, то ли машинально, — вступил, наконец, в гору.

На неимоверно длинной веревке, закрепленной где-то под толчком за одну из балок, почти касаясь пола ногами, висел один из Чужаков. Других не было видно, и оставалось непонятно, последний это, погибли остальные в пожаре, или же ушли куда-то, или же этих, других, вообще никогда не существовало. Но в тот момент человек не думал об этом. Он смотрел на гигантскую картину, то ли висящую, то ли стоящую за повесившимся Чужаком, почти еще не тронутую пожаром.

Он смотрел на картину, которую писали убитые, уничтоженные им Чужаки. То, что он успел разглядеть, было: рука "Давящего" с солнечным лучем, освещающим ее, и люди, с трудом пробирающиеся сквозь леса и болота к этой руке, и милосердие, и страх, и хлеб... Все было на этой, еще не законченной картине.

Человек сел около нее на пол, не замечая, как огонь, все больше и больше черня холст, со всех сторон приближался к Его руке.

Он сидел на полу рядом со своим матрацем и монотонно повторял: "Все равно в городе пожары. Самолеты летают и бомбы рвутся. И никто ничего не заметит. Все равно в городе пожары..."

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО**

**"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

Новая книга

**НИНА ВОРОНЕЛЬ**

**КАССИР ВЕЧНОСТИ**

В сборник вошли новые и ранее неизданные пьесы известного автора, воссоздающие быт и коллизии советской жизни, а также популярный цикл статей "Листки из блокнота", рассказывающий о культуре и искусстве Израиля и Запада.

300 стр.

14 долларов

Заказы и чеки принимаются по адресу: п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

**Идол**

Шел пытаться у идола пустыни.  
Идол рек оракул ритуала —  
глина изречения мерцала  
записи узорами простыми.

Пожираю пожирающего слово,  
но пожравший, словом пожираем —  
птица небогатого улова  
держит в клюве ягоду из рая.

И еще сказал он мне загадку:  
воды льда залили дельту Леты —  
отразился лик в зеркале гладком —  
веточка, сладимей ягод нету.

Смолк оскаливаясь идол.  
И вослед мне словно пело  
струннорогий воздух-тело...  
Бубенец.

**Натюрморт**

Растение, расправив крылья,  
стоит на ножке.  
Изобразим-ка изобилье —  
растенья рожки:  
в тарелке яхонты клубники,  
златые искры  
в них вкраплены, гора черники  
поодаль в миске,

смородину, нет, лучше клюкву  
насыпем также  
в ведро, и редкостную букву  
напишем, даже  
произнесем — откройте рты  
пошире — это буква Ы—Ы.

### Колючие твари

Смотри,  
цветет крокодил-цветок —  
а почему бы и нет? —  
ведь мог  
Дракон  
мир  
снести,  
значит  
таким  
василькам  
цвести  
велел  
сам Бог!  
Итак,  
он любознателен был,  
спрашивал всех —  
то есть вдруг подходил  
и — как во сне:  
Елка-осина-родная изба,  
скажи,  
что  
собой  
представляют  
ежи?  
— Это какие-такие ежи,  
те которые пальчики оближи? —  
любопытствует муравей.  
— Как это: пальчики облизать?  
Порознь? Вместе их целых пять  
на лапе-ноге-хвосте.

Да и вообще,  
у тех ежей  
нет головы и нет пальцев,  
так что о чем  
говорить  
с тобой,  
трухлявой травой!  
Елка — опять он завелся — скажи,  
что  
представляют собой ежи,  
если  
у них  
ни рук, ни ног —  
не то что какой-нибудь осьминог!

Думала елки колючая масть:  
Зачем — бестолковая дудка — ему  
приспичило варежки, прямо напасть,  
нужны они разве кому?

Зачем, нахлобученный ты саксаул,  
в хамсин поднебесья тебя породил  
отшельника лиры усат есаул —  
родитель рододендрон-крокодил!

Зачем, — вопрошал Зодиака Гарпун  
и море и дебри и вепри и я  
и моль, и мотыга, и коля колун —  
зачем существует кактус-змея?

#### Преданье

Раскидистый город Иерусалим  
на холмах лежит Палестины.  
Вечернего неба пещера над ним  
и ноют внизу муэдзины.

Еще не завален временем вход  
под своды гранатовых штолен.

Тропа халцедоновая ведет  
в тот сумрак, войти же ты волен.

И странная всюду ходит молва:  
там два родника что два глаза  
мерцают во мраке спокойные два  
незамутненных топаза.

Один из них — будто сгустки огня  
бродят в целительных струях.  
Крылатую лебядь получишь коня  
выпив пригоршню лихую.

Откроются Азии горы-врата  
и древняя грань Китайстана.  
И взоры и душу насытит тогда  
могучий покой Океана.

Но если ты полную чашу испил  
черпнув наугад из второго —  
каменным вихрем застынешь без сил  
склонен у ключа неживого.

И струи неумолимее льда  
вдруг отраженья орешком  
блеснут — неподвижно нацелит вода  
полуулыбки насмешку.

\* \* \*

Стекло дыхания чье око немоты —  
клык облака исторгнутого пеной —  
прозрачной скорлупою наготы  
многоязыкое язвительного плена.

Но бестелесны ли медлительные струи?  
Таят отраду яда — пряный хмель.

В изгибах речи неумных гурий  
я водорослей видел акварель.

Базальтовую глыбу волны лижут  
и шелестят их губы по песку.  
На туше туч спускаясь ниже, ниже,  
бог тяжело готовится к прыжку.

Отобрази о лист на грани света  
изменчивое существо лица —  
как твердый щит над прахом хлеб завета —  
вино алмазное, уверенность резца.

\* \* \*

Тень достигла высот  
на которых воздух так скроен что рот  
сам собою за трелью выводит трель  
и снует в пальцах свирель.

Отмелькали бьющихся рыб хвосты —  
потому ли они, те ячейки, пусты  
что лишь звук оставляет какой-то след —  
тьень, может быть, свет.

Вел свое тело, его и пас  
в пепельном поле иных прикрас:  
яблочко к яблочку древо небес —  
пьяного облика лес.

\* \* \*

Ветку кинув в пасть огня  
наблюдай его оскал.

Любите ли вы театр?  
Любите ли вы его так,  
как люблю его я?

Открылась половина двери, и в клубах мороза в кафе ресторанного типа вошли трое — Евгений Иванович, Попенченко Эдик и с ними женщина в сапогах. Отложив журнал, гардеробщик поднялся в ожидании шутиwego: “Хайль Гитлер!”

Заместо этого Евгений Иванович сказал:

— Что, насшибал уже д е - с ю н ч и к о в ? Ты даму, даму раздевай! Мы уж как-нибудь сами.

— На представлении были, Евгений Иванович?

— Балет! — ответил Эдик. — По книге Леонида Ильича.

— Я уж, мальчики, переобуваться не буду, — сказала женщина и, подав полиэтиленовый мешочек с туфлями, залязгала к зеркалу.

— По карманам только не сшибай, — обидел на прощание Евгений Иванович.

По обе стороны от лестницы из стены выпирали полуколонны, выкрашенные под мрамор. Ковровая дорожка на ступенях посредине была вытерта до основы. Юбка сзади на Раде Михайловне круто вздергивалась — попеременно. Евгения Ивановича

*Сергей Юрьенен*

**ДВА РАССКАЗА**

толкнуло изнутри в причинное место, неуверенно, но приятно. Как бы оттаивая.

Они поднялись в зал. Здесь было ярко, тепло и накурено. Свободных столиков не было. Посадочных мест тоже.

— А вон, — углядел Эдик.

— Где?

— Да за вашим столиком.

— Так там молодежь.

— Потесним.

— Неудобно, — сказал Евгений Иванович. — У них свои дела.

В дальнем углу слева, под картиной с изображением Театра Оперы и Балета, сидели девушка и студент. Она бледна и накрашена, он в темных очках. Он пил коньяк, она кофе.

Кофе здесь подавали, как чай: с кружочком лимона внутри и в тонких стаканах. Вставленных в подстаканники из тяжелого мельхиора. Она допивала уже второй. Отмалчивалась и одну за другой курила привезенные им американские сигареты с ментолом. "А помнишь, как мы..." — говорил он, выбирая наиболее пронзительные, с его точки зрения, моменты. Например, как они сгорели на солнце, уехав на парном водном велосипеде в зону невидимости, где и обнажились. И про тот островок с осокой, про отмель и болезненность любви на песке, который...

Он посмотрел на часы.

— Еще один рейс остался. Можем успеть.

— Не надо об этом. И кстати! Верни мне те снимки.

— Какие снимки?

— Которые ты делал тогда. Где я на этом велосипеде, как дура.

— Почему "как дура"?

— Потому что ты меня так снимал. Думаешь, я забыла? Ловил момент, когда я на педаль нажимала.

— Ту пленку, — сказал он, наливая из графинчика, — я не успел еще и проявить. Да и где? Не в фотоателье же.

— Тем лучше. Просто засвети тогда.

— Засвечу, конечно. — Он выпил. — Думаешь, я на нее...

Она перебила:

— Не выражайся! Люди идут.

Он повернул голову. За спинку свободного стула взялась рука с синевой плохо сведенной с кисти татуировки: "Не возражаете, молодые люди?" С ним была женщина. И еще третий, помоложе — тот как раз подносил недостающий стул, и запястье

под манжетом рубашки у него было перебинтовано. Он сел напротив. При этом мужчина постарше сказал: "Как говорится, в тесноте, но не в обиде!" Все трое были в костюмах — женщина в бордовом, с привинченным к лацкану значком. Включая женщину — широкоплечие, неуклюжие, с напряженными физиономиями. Студент отвернулся.

Из бело-зеленой, не нашей пачки его кадра — ногти синим крашены — выбила сигарету. Попенченко был некурящий, но зажигалка при нем была. Под стать — заграничный газовый баллончик, добытый в борьбе с фарцой. "Момент..." — сказал он, неумело высекая огонь. Кадра ждала, но обслужить ее не пришлось. Очкарик сказал: "Позвольте вам не позволить?" — и задул его пламя. У Попенченко Эдика даже челюсть отпала. Упреждающе Евгений Иванович наморщил переносье. После этого мужчины посмотрели на очкастого, который смотрел на пылающую спичку, которая обожгла пальцы и угасла.

— В этой дыре, — сказал он, — жить нельзя.

Евгений Иванович не вынес:

— Что вы сказали?

— Я не вам. — Выложив локоть, выставив хилое плечо, очкарик отгородился. Волосы неаккуратно налезали ему на воротник. — Ты здесь погибнешь.

— Я здесь прописана. Где мне еще жить?

— Со мной, — сказал студент. — В Москве.

— Нелегально, что ли?

— Почему нелегально? Я все устрою.

— Ты?

— Я.

Она недоверчиво фыркнула.

— А вот увидишь. Все будет. Включая прописку.

— У тебя же у самого нет.

— Вопрос времени.

— Интересно. Каким же это образом?

Он ополовинил рюмку и закурил.

— Видишь? — показал ей пачку сигарет "Salem". — Наметились связи.

— Уж не в преступном ли мире?

— В альтернативном.

— В каком, в каком?

— Ну, в параллельном.

— Не понимаю. О чем ты говоришь?

— Ну, в общем, — затемнил он, — возможны варианты. А что касается сигарет, курить будешь исключительно штатские.

— С сигаретами я завязываю. — Она решительно затаилась. Как бы в последний раз. И раздавила в пепельнице, полной окурков: на белых фильтрах следы помады. Такой — с блестками. — Да, мой милый. Меняю образ жизни. Нет, правда. А то дыхалка отказывает.

— Ах, вот как? И в каких же ситуациях?

— Не начинай, а? Я же бегаю теперь. А еще на аэробику записалась. Буду теперь, как Джейн Фонда.

— Терпеть ее не могу.

— Разве? А сам говорил, что я на нее похожа.

— Я? Никогда я этого не говорил.

— Говорил, говорил. — Она вынула сигарету, и он поднес ей огонь. — Чувак тот, я тебе показывала. Кружок на дому открыл. Через подъезд — далеко не ходить.

— Что еще за чувак?

— С бородкой, ну. Который на "Ладе"-пикап отъехал.

— Ничего себе "чувак"! Да ему уже кончать с собой пора. Знаешь, что Федор Михалыч говорит? Федор Михалыч говорит, что после сорока жить неприлично.

— Может быть. Но гай, между прочим, в форме. Профессиональный танцор, что ты хочешь. Дома у него настоящий зал. Зеркала, станок вдоль стены. Стереосистема на четыре колонки. Сейчас он хочет видео достать.

Сосед по столику сказал:

— Извините за вторжение, молодые люди. Нечаянно подслушал...

— Да?

Из кармана пиджака сосед вынул театральную программку и раскрыл.

— Как фамилия артиста?

Девушка недоуменно посмотрела на студента, который ответил:

— Нижинский.

— Ага! — и сосед повел пальцем по списку действующих лиц. Студент отвернулся и сбавил тон.

— Довольно гнусный все же тип. И эта бородка — якобы мефистофельская...

— Зато суплес у него — знаешь, какой?

Выражение ее зеленых глаз ему очень не понравилось. Он ухмыльнулся:

— Суплес, говоришь...

Во взгляде девушки возникло отчуждение. Льдистыми глазами она смотрела перед собой. В своем синем итальянском платье из спецраспределителя она выглядела почти высокомерно.

— Не сердись.

— Я не сержусь. Но ты все сводишь к одному.

— Есть грех.

— А у людей могут быть и другие интересы.

— Аэробика, например.

— Я даже спрашиваю себя иногда, а не маньяк ли ты.

— Конечно, маньяк. А это очень заметно? Моя мания это ты. — Он налил. — За тебя! И за Джейн Фонду.

Он выпил.

— Тот гай, — сказала она. — К женщинам он в принципе равнодушен. Если ты этого боишься.

— Ах, вот оно что. В принципе, щелкунчиков предпочитает? С ними, конечно, трудно конкурировать. Ну, спасибо. Успокоила. *В принципе.*

Уши у девушки заалели насквозь. Она выхватила сигарету, ломая спички, прикурила.

— Еще одно слово! — губы у нее тряслись, — еще только одно слово...

— И что? — смотрел он пристально.

— И я уйду!

Соседку по столику вдруг прорвало:

— И правильно, девонька! Давно пора! Гордость надо иметь.

— Я вам не "девонька"! Не вмешивайтесь!..

— Да я же! я же от чистого сердца. — Ее внутренности вдруг издали рык, и женщина в бордовом под столом схватилась за живот. Заглушая рычание, она выкрикнула жалобно: — Ой, да сделайте же что-нибудь! Евгений Иванович, Эдик! Я — на минутку...

Стул отпрыгнул, женщина вскочила.

Если бы не тормоз юбки, она бы сейчас вприпрыжку; вместо этого Рада Михайловна удалялась с достоинством, хоть и на полусогнутых. При этом, маскируя свои цели, она еще и ручкой поднятой подмахивала в такт любимой песне Евгения Иваныча:

Эдик в упор смотрел на студента. Сжимая челюсти, он крупно перекачивал желваки. *Пламя мое загасил.*

— Ты! — вытолкнул он. — Слушай сюда!..

— Эдуард, — роняя косо прядь, потряхнул в его сторону головой Евгений Иванович. — Погоди.

— Знаете? — сказал очкастый юнец. — Давайте сразу перейдем на "вы". Вы ведь театралы, предположительно культурные люди...

От этого ехидства Попенченко Эдик ударил себя в левую ладонь. Ребром своей правой он иногда кирпич перерубал.

— Вы по профессии, наверное, спортсмены?

— Зачем? — Евгений Иванович повел шеей. Отстегнул пуговичку и ослабил галстук. — Дама наша — юрист. А мы с товарищем инженера. Трудимся в одном "почтовом ящике". Но, невзирая на профессии, в первую очередь мы люди нашего города. Сами, как я понял, нездешний будете?

Юнец выдернул из вазочки салфетку и снял свои темные очки. Он был близорук.

— Приезжий, — буркнул он.

— А откуда, извиняюсь?

— Из Москвы.

— Проживаете там?

— Живу.

— А мы, — сказал Евгений Иванович, — мы живем здесь.

— Ясно.

— И этим гордимся.

— Патриоты своего города — иными словами.

Он все протирал свои стекла, глядя с беззащитным, но от этого еще более наглым видом.

— Да. Патриоты. — Евгений Иванович неуверенно посмотрел на Эдуарда. — Допустим, мы бы при вас нехорошо сказали про Москву. Как бы вам было?

— А никак. Про Москву, к тому же, хорошо не говорят.

— Разве?

— Не слышал ни разу. Все ругают.

— А это зря. Москва, она...

— Столица СССР.

Евгений Иванович обиделся.

— Правильно. Со всеми вытекающими последствиями. Там сейчас сколько миллионов?

— На восемь тянет.

— Наш город, конечно, поменьше. Раз в восемь. Но имеет свои достопримечательности. Например...

— Театр Оперы и Балета, — сказал Попенченко Эдуард.

И указал пальцем.

Психологическое давление провинциалов было таким сильным, что студент надел очки, оглянулся и запрокинулся.

Внутри позолоченной гипсовой рамы было изображено нечто вроде Вавилонской башни. Художник, оставивший неразборчивую подпись над черной датой "1937", масляных красок не жалел. В их завитках за это время скопилась пыль соцреализма.

— В Москве такого нет, — сказал сосед по столику. — Наш больше вашего Большого. А вот и Рада Михайловна!

Несмотря на свои габариты, женщина уселась бесшумно и припустила ресницы.

Словно бы выстрелило изнутри в промежности — и Евгений Иванович пылко взял бутылку и стал наполнять фужеры. При этом он приговаривал не своим голосом:

— *Любите ли вы театр?* Как в том фильме Доронина-то? Просто мурашки по спине! *Любите ли вы его с такой страстью, как я?* По Личному Указанию, между прочим, построен... Что это вы, Рада Михайловна?

Женщина в бордовом сидела, перекрыв фужер ладонью.

— Слабенькое ж?

Пунцовая, она призналась:

— Я слабенькое-то не очень. Вообще.

— И-эх! А я-то сделикатничал! — с болью запоздалого раскаяния вырвалось у Евгения Ивановича. — Водочки тогда закажем?

— Да уж что сейчас, — сказала Рада Михайловна. — Уж уходит пора.

— А по сто граммов под занавес?

— Не стоит. — Она покосилась на очкастого. — Не то настроение.

— Женщины! Век живи, век учишь, — умозаключил Евгений Иванович, доразлил остатки себе и Эдику и отставил пустую темно-зеленую бутылку с абсурдной надписью на ярлыке: "Шампанское клюквенное".

Студент взглянул на девушку, которая, сжав губы, завинчивала сигаретную пачку жгутом. Немедленно он вынул нераспечатанную, но она оттолкнула:

- Сказала же тебе: бросаю.
- Аэробика, да?
- А если и так? Мы что, расписаны с тобой?

Тем временем Евгений Иванович наливал ему его же коньяка. Семьдесят пять граммов — до золотого ободка, чтоб вздулось.

– Давайте, молодой человек. Как говорится, зароем топор на прощание.

– Не пей, — сказала девушка.

Фужеры соседей выжидающе шипели.

– Но мы ведь не расписаны? — Он взял рюмку.

Тот, что постарше, объявил:

– За Театр.

Сосредоточась, чтобы не пролить, студент повел свою рюмку на посадку. Он не пролил ни капли. И хмель отваги ударил ему в голову. Откинувшись на спинку стула, он сложил руки на груди.

– Я пить не буду.

– Обижает, — отметил Попенченко Эдуард.

– Ты погоди... Вас не устраивает тост?

Тот плечами дернул. С ним было все ясно, но Евгений Иванович — несмотря на то, что выдыхалось, — еще уточнял:

– Или, может, компания не та?

– При чем тут компания, — занервничал москвич. — Я просто не люблю театр. Вот если бы за дам...

– Не любите т е а т р ?

Тот головой мотнул: мол, нет.

– Ин-тересно, — и Евгений Иванович отставил свой фужер. — Драматический или Оперы-Балета? Наш или вообще?

Студент посмотрел на девушку.

– Вообще.

– Ну, заносит москвича! — засмеялся Евгений Иванович. — В о о б щ е вы не можете не любить театр. Потому что, как правильно сказал Вильям Шекспир, театр вообще — это м и р .

– Да что вы с ним, Евгений Иванович! Ему, поди, и сам Шекспир не указ.

Женщина в бордовом со скрипом отодвинулась. Мужчины тоже поднялись.

– Мы вас проводим, Рада Михайловна, — сказал театрал постарше, бросая на стол ("Нет, нет: это была наша инициатива!") пятирублевый билетик, как полусотенный банкнот.

— Да мне тут рядом. Стоит ли?..

— Нет, нет. Эдуард!

Уже на ногах этот амбал допивал свой фужер. Через плечо крутозадая тетя в бордовом бросила:

— Красивая, холеная — и с кем повелась? Цены себе не знаешь, девонька!

— Тяжелый случай, да. Но мира, м и р а -то не может же он не любить?..

Студент навалился на край стола, запустил под рубашку руку и приложил ладонь к впадине под ребрами.

— Уф-ф! Я уж думала, конца этому не будет. Дай мне сигарету.

— Бросаешь ведь?

— Просто при этих расхотелось. Типы — скажи?

Он вынул пачку, распечатал, обслужил огнем — и, морщась, вернул спасительную ладонь под ложечку.

— Люди, как люди, — ничего особенного.

— Только под брюками у них — ты не заметил? — сапоги. Что с тобой? Тебе нехорошо?

— Н-ничего. Сейчас пройдет.

Холодный пот прошиб его, и под темными стеклами глаза сами зажмурились. Черная, дурная истома сжимала сердце, но он знал, что эта боль иррадирующая.

— Снова язва?

— Сейчас, — сказал он... — Подожди.

Она смотрела с гримасой чистого сострадания. Ж е н а , подумал он. Изменилась только жизнь. Не только форм — уже и сути не опознать.

— Не надо было пить.

— Не надо. Только это ведь не дом свиданий.

— Зря мы сюда пришли.

— Ну, а куда еще? Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. — Он усмехнулся, ужимая угол рта. — Особенно, когда он не один.

— Прошло?

— Проходит. Тем временем, — сказал он, — последний авиаомнибус ушел. И обострил проблему. Как разрешим?

— Что именно?

— Проблему этой ночи.

— А как захочешь. Возможны варианты, между прочим: Элеонора мне инфекундин достала.

Он задохнулся — не столько от смысла, сколько от тона, нейтрального, дистанционного. Сердце разом освободилось от тисков.

— А где?

— У меня. Где еще в такой мороз? Когда предки затихнут, выключу свет. Входная дверь будет открыта. Только держись вдоль стены, а то паркетины скрипят.

— Я помню.

Студент и девушка смотрели друг на друга.

— А что за варианты у тебя в Москве?

— Госбанк ограбить.

— Я серьезно.

— Тридцать пять в месяц, койка в общежитии и прописка еще на два года.

— А сигареты откуда?

— У араба купил.

— На какие бабки?

— У грузина выиграл.

— Ты опять играешь?

— Мне везет.

— А как же литература?

— Ил-люзия, — презрительно ответил он.

— Но твой роман?

— Нет никакого романа.

— А будет?

— Я откуда знаю.

— А вообще что будет?

— Не знаю. Знаю только, чего не будет. Никогда. И в этот набор входит все, о чем мечталось. На базе американских "пocket-буков"...

— Но что же тогда есть?

— Сказать?

— Скажи.

— Лучше я тебе спою.

Есть только миг между прошлым и будущим —  
именно он называется Жизнь!

Помнишь? Музыка Зацепина, слова Дербенева, философия общенациональная. Сорокапятка из гнущейся, но голубой пластмассы.

Девушка спросила:

— Первый рейс на Москву во сколько?

— В 6.45.

— Пойду собираться. — Она поднялась. — Мы, может быть, и не погибнем, а?

— Тоже не исключено.

— Циник же ты, однако!..

Он смотрел вслед, ей было девятнадцать. В синем платье она ушла. Жила она в этом же доме, на третьем, “генеральском” этаже. Вход в подъезд со двора, а окна — как раз над неоновой вывеской. Отчего по ночам в ее комнате потолок озарялся зеленым, а с улицы доносилось тихое, но напряженное жужжание. Рюмка коньяка золотилась перед ним. Он выпил, подозвал официантку. Потом прошел по прямой сквозь сизый дым, спустился по ковровой дорожке и свернул налево в туалет, где его вырвало в осклизло-каменный сток писсуара. Очки удержались. Сняв их перед зеркалом, он не узнал это бледное, изможденное, ликующее лицо.

Попенченко Эдуард нес сзади черные туфли в полиэтиленовом мешке, а Евгений Иванович вел даму под локоток. Он знал, что Рада Михайловна проживает в однокомнатной квартире одна. Он не оставлял надежды, что будет приглашен у подъезда — допустим, на чашку чая. С другой стороны, он чувствовал, что шансы — при свидетеле — на это невелики. Будь у него хорошо подвешен язык, он мог бы их увеличить, но чем ее взять? Мастером пудрить им мозги он не был. К тому же, мороз. Отчуждение этого рядом шагающего тела, большого, фигуристого, туго упакованного, — нарастало. Анекдот, что ли, рассказать? Мысленно он стал отбирать попрличней, но женщина его опередила:

— Вы, я вижу, не в духе сегодня.

И он признался:

— Да, настроение, прямо скажем, неважно. С утра, понимаешь, в крематорий пришлось.

— В крематорий?

— Ну да. Курсант один. Казалось бы, ерунда: гимнастическим кольцом задело по лопатке. А в результате рак кости. И сгорел парень.

— Болезнь века, — сказала женщина.

— А бугай был! — с энтузиазмом добавил он. — Из деревни.

Женщина не реагировала.

— Да и культпоход этот. Уже сдавали ведь по книге Брежнева. Этот, идеологический зачет. Так теперь и балет по ней смотри. В порядке добровольно-принудительном, но за свои же деньги.

— Уж не диссидент ли вы?

Шутка обнадежила.

— Так ведь на голову не налазит. Балет! “Князь Игорь”, к примеру, так годами не ставят.

— “Князь Игорь”, по-моему, не балет.

— Балет-балет. Там еще эти... половецкие пляски. — Он подумал. — Но опера тоже есть. “О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить... Я Русь от ворога спасу!” Все забыл. Сам еще курсантом был, когда нас водили. Но точно помню: окрыляло. Вселяло, понимаете, подъем.

— Вы, Евгений Иванович, сами с какого года?

— С 37-го. А что?

Но она не прояснила, с какой целью интерес, и ему захотелось добавить: мол, старый конь борозды не испортит. Но под “старого коня” он по возрасту еще не подходил, да и насчет “борозды” было бы сильное преувеличение: там пахано-перепахано. Надо полагать.

Она нарушила тишину у своего подъезда — перетопнув коваными сапогами.

— Ну что, мальчики, баиньки пора? На неделе буду у вас, может, и увидимся в буфете. Спасибо, что проводили.

Взбежав по ступенькам, она с рывка отодрала примерзшую дверь, и Евгения Ивановича обратно толкнуло в чувствительном месте — но исчезающе слабо. Как рыбка хвостом перед тем, как исчезнуть в мутной воде.

— Зачастила что-то к нам, — сказал он, прикуривая из оголившихся ладоней Попенченко. — Наверно, Дубик ее тянет. Не думаешь?

Эдуард ушел в несознанку — предпочел.

— Ну, не Дубик, так другой. Кто-то же ее тянет? Такая, понимаешь-шь... ты что?

Обратно шли быстро, затягиваясь на ходу. В зоне зеленого излучения, у двери, затянулись по последней и раздавили бычки носками сапог.

— А дубарок, — заметил Попенченко.

— Сейчас согреешься.

Евгений Иванович открыл половинку двери.

Как и было предвидено, сосед по столику стоял у гардероба. Он был уже в пальто — в демисезонном. Бледный волосатик в темных очках. Он повернулся:

— А, товарищи театралы...

Сдержанно чокая подошвами по мрамору, они подошли.

— Случилось что? — участливо вник Евгений Иванович.

— Абсурд какой-то! Этот вот деятель, — кивнул студент на гардеробщика, крепкого старика в овчинном жилете, который, лысину нагнув, изучал за стойкой "Огонек".

— Ну?

— Не отдает мне шапку.

— Эт-то почему?

— Не твоя, говорит.

— Богатая шапка, что ли?

— Да дерьмо, а не шапка, -- ответил Софроныч. — Пыжик дра-  
ный. Только откуда мне знать, его? не его? На полу валялась.

— Так, может, из рукава выпала?

— Так, может, не из его?

— Из его, из его, — авторитетно сказал Евгений Иванович. — Вер-  
ните клиенту головной убор. Надо доверять людям.

— Еще Цербером обозвал. Ветерана-то войны, — дернул веком  
бывший полицей и неохотно выложил на стойку шапку.

Москвич натянул ее и поднял воротник.

— Спасибо.

— Что, порядок? Тогда пошли, — и Евгений Иванович взял кли-  
ента под руку.

— Куда?..

— Пошли-пошли. На экскурсию.

Попенченко хохотнул, открывая перед ними тугую дверь. Сквозь тесный тамбур все трое вывалились в зеленую морозную мглу. Клиент оскользнулся, но прежде времени упасть Евгений Иванович ему не дал. Он выволок свою непрочную добычу на самый угол того, что до зимы здесь было тротуаром. И указал, вытянув палец в черной коже перчатки:

— Смотри. Ты видишь?

Театр Оперы и Балета имени (почему-то) Горького сиял над холмом темного парка. Цепи электрических лампочек опоясы-

вали его круглые этажи, концентрически сужающиеся сверху, где, подсвеченное невидимыми прожекторами, реяло полотнище. Ночь над ним, черным, была озарена вглубь.

— Вот это есть к р а с и в о . И грандиозно!

Юнец рванулся, оскальзываясь, но Евгений Иванович держал его цепко.

— Это наш мир, с-сученок! И ты его сейчас полюбишь. Эдуард, давай оправдывай фамилию.

С поворотом Попенченко ударил клиента сверху — крученым по печени. Студента развернуло. Из кармана пальто у него торчала пара перчаток. Прижимая руки к ворсистому драпу, сквозь темное стекла очков он увидел, что окно над вывеской кафе еще горит. От второго удара — в висок — очки слетели.

Евгений Иванович сходил за ними и вынул из сугроба.

Юнец еще стоял. Протянув к ним руки, как бы за помощью, он уезжал по льду спиной вперед. Только что он получил прямой по зубам. Он попытался сплюнуть, облился кровью, закашлялся — и удар между ног выбил из-под него почву льда. Болидом мелькнул Театр Оперы и Балета. Рассыпался искристо. И угас. Очнувшись, он понял, что его выбросило на проезжую часть. Высоко над ним светилась полоска люминисцентного фонаря, по обе стороны озаряя мохнатый от снега провод. Соскользнув с трамвайной рельсы, локти нашли опору. Он приподнялся.

Имитируя человеческий почерк, сквозь мгlistый туман четко проступала неоновая вывеска: КАФЕ "ТЕАТРАЛЬНОЕ". Он всегда думал, что здесь собирается артистическая богема — вроде этого стареющего козлюноши, надомного преподавателя аэробики. Он ошибся.

В этот момент окно над вывеской погасло, врубая в сознание черный квадрат. Это значило, что уже можно. Вот только нечем, подумал он насмешливо, чувствуя как боль в паху достает до сердца. И вместо секса придется обкладывать льдом. И все же — отделался сравнительно легко. Могли ведь и убить. Но тут включился слух, и он понял, что э т о еще не кончилось. Подковками своих сапог доставая булыжник мостовой, соседи по столику заходили с разных сторон. Он вспомнил ее торс, совсем мальчишеский над женственным изгибом бедер. При ежевичинах сосков едва намеченные груди, о т с у т с т в и е которых этому сатиру вряд ли безразлично. Везет вам, козлюноша. Ну, ладно. Ничего. Подошвы остроносых чешских туфель лед не удержали. За-

то им каблуки московский ассириец, сидящий за углом Большого театра, подковал железом не хуже вашего. Бой, патриоты, только начинается. Война набоек.

Евгений Иваныч остановился, небрежно покручивая за дужку очками поверженного.

— Так что, еще не полюбил театр? Или уже?

Студент выбросил ногу каблуком вперед. Охнув, враг схватился рукой за коленную чашечку. И выстонал:

— Сделай мне его, Эдуард.

Справа заверили:

— Сейчас исполним! В лучшем виде!..

Схватившись за рельсу голой рукой, студент развернулся и замолотил каблуками. Вращался и держал оборону. Круговую. Евгений Иваныч подхромал поближе, чтобы помочь ее проломить. Оскалившись кроваво, волосатик изловчился и достал его вторично — по больному месту. Утробно подвывая, враг отковылял и издал жалобный крик:

— Что же ты, Эдик? Не оправдываешь фамилию.

Однофамилец чемпиона в тяжелом весе, убитого ударом ножа и забытого уже страной, Попенченко взревел от радостного предчувствия точного попадания. И провел удар. Футбольный. Под ребра. Развивая победу, он продолжал работать сапогами, вбивая по корпусу так, что перевернул соседа по столику разбитой мордой в снег. После чего снял шапку, утер лоб и взопревшие свои кудри.

Волосатик лежал, подломив под себя руку.

Попенченко стало не по себе.

— Будешь теперь знать! — сказал он. — Пламя мое загасил.

Обидчик не двигался. Снег, набившись, взъерошил ему затылок.

— Ну что? — подковылял Евгений Иваныч.

— Вот, сделал.

— Вижу. Производи теперь осмотр трупа.

Убивать Попенченко Эдику еще не доводилось.

— Я в голову не бил! Вы что?!..

— Что я? Я ничего. Прими, — передал Евгений Иваныч ему темные очки и, кряхтя, опустился на здоровое колено. Зубами, прикусывая по пальцу, стащил перчатку и, сунув москвичу под воротник пальто, нащупал под шершавой от щетины, но подевичьи нежной кожей сонную артерию.

Надел перчатку, поднялся и отобрал очки. Правое стекло треснуло по диагонали. Кожаными пальцами Евгений Иванович его выдавил. Аккуратно по краям обчистил, напялил и сквозь дырку подмигнул Попенченко:

— Жить будет.

Снял очки, сронил. Занес каблук и с хрустом размозжил. После чего схватился за колено. Растирая ушиб, пошутил:

— Но к о р о ч е уже. Если будет. Знаешь? Давай отсюда ходу.

Они тащились мимо заснеженного чугуна решетки. Попенченко взопрел, обуздывая шаг. Углы снимали они в разных районах, но с километр им еще было вместе. До костела.

— А если нет? — не выдержал Эдик.

— А нет, так нет. Одним волосатиком меньше.

— Да, но...

— Что "но"?

— Да так. Про кадру его думаю.

— А ты не думай. О том Софроныч будет думать. Если что.

Когда младший снова заговорил, в голосе у него было подострастие:

— Как ножка-то, Евгений Иванович?

— Н-ничего. До свадьбы заживет, — сумрачно ответил старший.

При этом представились ему рейтузы Рады Михайловны, но ничего, кроме отвращения, его уже не толкнуло. Е-мое, а вдруг саркома? — ужаснулся он. А вслух добавил рассудительно, что все ж на сон грядущий, наверно, стоит наложить компресс. — Сумеешь?

— Чего, компресс?

— Н-ну да.

— А спирт-то у вас есть? — нагляя, потребовал младший.

— А как же. 90 градусов.

— Тогда лады. Оформим в лучшем виде.

Пройдя свой поворот, за церковью уже, сказал:

— Тот-то — а? Загасил мое пламя... Зачем?

Старший не ответил. Мрак томил его по другой причине. На ходу он непрерывно думал о ноге. Теперь хоть и в одно место, но идти им было еще долго.

*Мюнхен, 1986.*

## Ночь под рождество

*Памяти  
Юрия Трифонова  
и Михаила Демина*

*Там все не так...*

*Гоголь, Страшная месть*

Он позвонил наутро:

“Старик, тут говорят, тебе вlepили с к о к ?”

Я подтвердил: “Если ты это имеешь в виду”.

“А сам-то знаешь, что это такое? Будешь читать мою книгу, там я подробно описываю. Я же был с к о ч к а р е м , старик! В сорок шестом однажды, на Северном Кавказе...”

Он т и с к а л р о м а н , я внимал. На Северном Кавказе аналогичной жертве вдобавок размозжили лоб килограммовой банкой с халвой. Мне не было смешно. С к а ч о к с его спонтанностью к моему случаю не подходил. Он тоже перестал смеяться:

“Что, по н а в о д к е ?”

Я рассказал ему кое-что об одном “национальном” кафе на другой стороне моей улицы. За стойкой, под полом, куда однажды мне предложили спуститься всего за пятьдесят франков, по добрососедству, там оборудован бордель в одно койко-место.

“Все ясно. Закрыть этот “Сезам”? Звоню сейчас своим сербохорватам на Монмартр. У них Эм-Гэ”.

“Пардон?..”

“Машиненгевер. Будь спок: солидный инструмент. Так как — звонить?”

С той душной ночи, когда, выключив телевизор, мы услышали из окна взрыв ликования на площади Бастилии, где “левый” Париж дожидался результатов выборов, вот именно с того момента минуло полгода — явился 1982-й.

Новый, “социалистический” год начался ударом ниже пояса. Хозяин квартиры решил не продлевать контракт — в связи с ликвидацией всей своей недвижимости перед убытием в Les États-Unis; конкретно — в Бруклин. Кроме этой двухкомнатной квартиры в доме XVI века, вся его недвижимость располагалась на соседней rue Charlot — квартира с парализованным тестем, депрессивной женой и музыкально одаренной младшей дочерью

(старшая, философ, находилась в разрыве) и — ниже этажом — швейная мастерская, где с десятков желтолицых беженков от азиатского коммунизма строчили ему прибавочную стоимость — при этом весело щебеча. До весны — до 1 марта — выселить жильцов, да еще с ребенком, в этой стране он не мог еще по наполеоновскому закону. Об этом он, разумеется, знал. И сваливать на улицу с пожитками он не требовал, а просил — как о заслуженной им услуге. Вскользь пробросив несколько писательских имен — Эмиль Золя, Владимир Короленко, — он напомнил о принципе интернациональной солидарности жертв. Его дед с его отцом бежали с широй Украины, отец с ним — из Венгрии, а вот сейчас пришел черед и ему, месье Шнайдеру, выводить свой род из-под угрозы — благо в Бруклине был брудер.

Что тут поделаться? Мы обещали не вставлять палок в колеса. В перспективе переезда — пятого за четыре года парижской жизни — в ванной появились первые картонки из-под Peggier. По ночам я приносил в них пищу из круглосуточного супермаркета возле Бобура. Куда деваться при этом было — абсолютно непонятно. К тому же и без денег. Эта неразрешимая забота задвинула на задний план угрозу, которую опережающе, наследственным сейсмографом, чуял месье Шнайдер. В нашей ситуации было не до метафизики. А предстоящая национализация моего банка, месяц назад отобравшего у нас чековую книжку за уход в минус на жалкие сто двадцать франков, меня как-то не омрачала. Вопрос же обобществления жен на повестке дня пока еще не стоял.

Жуткий, жуткий был вечер. Погода из тех, когда говорят, что хороший хозяин собаку за порог не выпустит. Мы и не выпустили: наш Шогун, годовалый скоч-терьер с ярлыка общеизвестного виски Black&White, остался дома. Он был блэк — и подошвой сапога я осторожно утопил его морду в темноте на кухне и закрыл дверь. После чего осмотрел комнату.

— “Семьдесят третий” мой где?

— Зачем он тебе? — спросила строго моя Констанс.

Я побренчал патронами в кармане штанов.

— Орехи колоть.

— А! знаю! — вскрикнула Беата.

Уже в шубе, она бросилась в свою комнату, включила свет и стала рыться в бардаке. Я возвысил голос:

— Что он у тебя там делает, а?

— От г о с у д а р с т в а , — произнесла Констанс, — защищать-

ся бессмысленно. Если государство приняло решение убить эмигранта, то оно убьет. И нечего таскать тяжести.

— Причем тут оно? В этом квартале у меня друзей хватает.

— И потом, я принципиально против оружия в доме, где растет ребенок!

Тем временем ребенок приволок мне револьвер. В то время я обладал французской общевойсковой моделью образца 1873 года. Слиток полированного металла весом 1,18 килограмма. Барабан на шесть патронов калибра 11 миллиметров. При всех своих убойных данных был узаконен в качестве коллекционного.

Я взвел курок и ахнул: упругий спуск болтался, как...

— Ты что, его разобрала?

С яростью Беата отказалась:

— Это Кристель!

Кристель с рю Pastourelle являлась младшей дочкой мамы-уборщицы. Папа-итальянец был у нее в бегах. Провернув револьвер на пальце, я оставил его на краю стола рядом с электрической пишущей ИВМ. И выключил свет.

Мы вышли. На лестничной площадке двоим не разминуться. Констанс с Беатой спускались, а я, запирая, старался не вдыхать. Дверь соседа была приоткрытой — как всегда с наступлением тьмы. Освещается светом с лестницы — своего у него нет. Ни электричества в комнате, ни сортира: срет в ведро, которое выносит утром, а ссыт, случается, в камин. Камин в его норе — в человеческий рост. Подергав дверь, я заглянул в источник вони. Квартальный дурачок, тридцатитрехлетний сын клошаров, пропивших свою винную лавку плюс над ней квартиру и переселившихся в метро, Себастьян как раз вливал в себя вино из горлышка пластмассовой бутылки. Стоял и, запрокинувшись, обеими руками держал два литра. На фоне заливаемых сверху донизу стекол силуэт его был обведен сияющим ореолом. Тоже отмечал в одиночку. Впрочем, праздник у него перманентный.

Я снял с перил наш зонт и наполнил пролет грохотом. Внизу, под сводами туннельчика, Констанс и Беата ждали меня с пальцами на губах: "Тс-с..." В нашем патио дождь колотил по жестяной крыше пристройки, не щадя при этом и запаркованный при входе в эту обитель хулигана японский мотоцикл с раздутыми серебряными жабрами и сверкающим зеркалом заднего обзора. "Что?" — шепотом спросил я и услышал сквозь бой дождя не-

что столь же невероятное, как советское мое детство первой половины неоправдавшихся 50-х, как слезы первые любви, которые глушил подушкой девятилетний пионер, слушая сквозь стену гостиничного номера, пожалуй, первую на памяти оргию. О Господи, как бил потом ремнем капитан Несмеянов ее героиню, свою дочь — выпускницу десятого класса, сказочную блондинку с гордым именем Диана. “Вы не представляете предел падения этой твари! — говорила в коридоре мачеха жертвы моей матери. — Все, ну все было залито... в ы меня понимаете? Мне пришлось ночью, как воровке, выбрасывать наши китайские коврики!” Падшая Диана, остригшись под Ким Новак, мужская рубашка узлом на животе, брючки по щиколотку, ставила мне на патефоне самодельные диски тех лет — “на ребрах” — на рентгеновских снимках:

Мишка, Мишка, где твоя улыбка,  
полная задора и огня?  
Самая нелепая ошибка —  
то, что ты уходишь от меня!

Этот шлягер я и слушал, задрал голову в пролет. Опомнившись, только и смог вскричать:

- Incroyable! Откуда, кто?..
- Это, наверное, ререге, — предположила Беата.
- Какой еще ререге?
- Который на чердаке живет.
- Почему ты так думаешь?
- Потому что он русский.

Указанный ререге здоровался с нами исключительно по-французски. Мы с Констанс переглянулись.

- С чего ты это взяла?
- Он мне сам сказал.
- Что он тебе сказал?
- Он твою “Русскую мысль” читал, а я в школу шла и увидела.

И он мне сказал.

- Что именно?
- “Moi, mademoiselle, je suis russe aussi. Je m’appelle Michail Ivanouch”.

Тогда все ясно. Почтовые ящики под сводами туннельчика запора не имели; оставалось воздать должное первочитателю недешевого эмигрантского еженедельника: следов прочтения он никогда не оставлял.

На противоположной стене была кнопка с надписью "La porte". Беата нажала ее, и дверь на улицу разомкнулась. Я выставил зонт наружу и раскрыл. Сгрудившись, вышли мы.

Лил ливень, и Париж покрыт был отвратительной коростой льда: плиты тротуара, железная вдоль него перегородка, крыши запаркованных машин — все. Более гнусной погоды, чем под это православное рождество по старому стилю, не то, что в Париже, — в жизни не видел. Машины у нас нет — как и водительских прав. Мы шли к метро — и поскольку лично я выведен был во внешний мир вопреки своей творческой воле, под жидким льдом, заливающим щели улиц нашего квартала и колотящим по зонту, настроение, и без того отсутствующее, провалилось в черную дыру. Молча я нес ее в себе. Ближайшая станция метро — Filles du Calvaire. Крутые ступени спуска не просто обледенели, они превратились в гофрированную ледяную горку. Заглянув в этот зев, я немедленно представил себе диагноз: *перелом шейки бедра*. Такси? По бульвару Бомарше все они, включая и свободные, проносились мимо нас, жмущихся под зонтом, в обе стороны — как налево, к площади Бастилии, так и направо, к площади Республик. Прямо напротив — на той стороне — на здании сияла вывеска: "CIRQUE D'HIVER".

— В Москве цирк лучше, — сказала Беата.

Мы посмотрели на нее сверху вниз.

— Да! Там дамы на конях скакают.

— Скачут, — поправил я, как мастер родного языка. Она игнорировала:

— А еще в Москве медведи en jupette.

— А здесь не в юбочках?

Она не приняла иронико-шутливый тон, ответив обреченно:

— Здесь нет медведей.

— Зато "Макдональды" есть. Скажи мне лучше, который час.

Охотно Беата достала из кармана своей дубленки карманные часы — из красной пластмассы и с Микки Маусом на циферблате. Мы уже опаздывали. Пришлось приступить к спелеологической авантуре — вдоль кафельной стенки, по поручню вниз один за другим семейка эмигрантов соскользнула в парижскую подземку.

Тут было грязно и светло. И пестро, и тепло, и сухо — но мы приехали. Всего лишь навсего за Републик — хотя из-за пересадок и переходов ехали так долго, что отогрелись. Наверху дождь объединился со снегом, и мы погрузились в омерзительную ка-

шу еще на полчаса, отыскивая улицу и дом. Зонт ограничивал наш кругозор, так что опоздание мы усугубили.

В лифте было зеркало. Я причесался и стряхнул воду с расчески.

Открыл нам психоаналитик Бруно — брюки заправлены в сапоги, в руке дымится трубка. Ни бэ ни мэ по-русски, был приведен он сюда своей Жислен — весьма охочей до нашего брата.

Квартира оказалась в одну комнату.

Хозяин этого studio поднялся из кресла навстречу. Когда-то, за одиннадцать лет до моего появления на свет, в Москве 1937 года жили два мальчика. Отцы их были братьями. Отца одного арестовали и расстреляли, у другого — его — разорвалось сердце в ожидании ареста. Оба мальчика выросли и стали писателями. Один, намного более известный, умер недавно в Москве, а другой, пером добывший здесь на Западе славу Папийона а ля русс, оказался тощ, хром, носил дорогие притененные очки, сидящие усики, перстень и страдал одышкой. Дома перед выходом я сверился с задней обложкой его книги: Алику было пятьдесят пять.

Мы пожали друг другу руки. В ожидании нас они ополовинили бутылку “Джонни Уокера” и задымили комнату — голландским трубочным табаком, сигаретами “Данхилл” (Жислен курила их через мундштук из слоновой кости) и беспощадными французскими “Боярами”, — впрочем, Алик садил их через антитиципиновые фильтры. Непростые все были люди. Я отказался от виски: чего уж рассаживаться? И так опоздали на час.

— Бон! — поднялся Алик. — Тогда давайте не откладывая... И мы пошли.

В ресторан. В китайский. В е г о китайский ресторан, содержатель которого, по словам Алика, б е з б а л д ы агент пекинской разведки и благоволил к клиенту, возможно, не бескорыстно, а имея виды. А ты, старик, не смейся (ничего, что тютюирую?). Разведслужба Поднебесной — это...

— Старик! — перебил он себя. — Вот, говорят, ты все читал. А роман моего кузена, посмертный?

Я читал.

— Ну, и как тебе?

Я не стал лукавить — высказал.

— Так ты считаешь? А я, ты знаешь, не смог осилить... уф-ф... Сейчас, старик...

Под зонтом, который держал я, Алик стал задыхаться. Кроме того, выйдя в изящных итальянских мокасинах, он постоянно оскальзывался, особенно на поворотах. Ни с одной женщиной не был я столь деликатен, подставлял ладонь, о которую опирался локоть этого пожилого юноши. Сохраняя образ, который он имел о себе, Алик принимал эту подстраховку не благодаря, как бы и не замечая вовсе. Но — локоть упирал. Сердце у меня сжалось. Мы стояли на углу, он опирался о стену тремя пальцами руки. Перчатки на нем были тонкой, узорчатой кожи.

Он отдышался, мы пошли.

— ...Вы обратили внимание? — начал я.

— Тютюируй, — отозвался он, — тютюируй, старик...

— Я о романе Юрия Валентиновича. Помните героя? А н т и -  
п о в .

— Н-ну.

— П и с а т е л ь Антипов.

— Ну? Это ж он, он сам. Альтер эго, старик!

— Алик, а он вообще был как? В смысле религии.

— Кузен? — удивился Алик. — Не знаю. Лично я не замечал. Мы с ним, старик, о таких материях как-то не обменивались. А что?

— Есть такой персонаж, — сказал я. — А н т и п а . Летописец, сидящий под тронем Сатаны, но верный Господу своему.

— Это где, в Библии?

— Да, в Откровении. В Апокалипсисе...

— Любопытно. — Алик остановился. Вдыхая, как рыба, он пытался раскурить под зонтом влажный окурочек "Бояра". Он сделал затяжку и посмотрел на меня сквозь затененные стекла. — Значит, понравился тебе роман кузена?

— Я вообще люблю беспощадные книги, — ответил я как бы винясь в потаенной привязанности к его покойному кузену, которому когда-то, в конце 1970-го, в самый губительный момент своей юной жизни, был я представлен в Дубовом зале ЦДЛ — такой увалень, советский вариант Пьера Безухова, сырное, одутловатое лицо, толстые очки в типовой угрюмой оправе, и это его неожиданно застенчивое: "Юра..." За столом, который держал автор "Кортика", праздновались "Юрины" "Предварительные итоги". Я выпил рюмку водки, насильно, а потом, спустившись в подвальный кафельный сортир, выблевал ее вместе с желчью — я, только из больницы, доходил тогда во всех смыслах, и эта

водка “за Юру” была моей первой “писательской”, хотя в то время я еще не мог предвидеть, что научусь писать и к а к п е ч а т а ю т , — навык, человеку противопоказанный.

— Во всяком случае, — добавил я, — чернее этой я пока не знаю. В контексте времени и места.

— В к о н т е к с т е , — неприязненно повторил Алик. И вдруг взорвался:

— Да что он знал об этом времени?! Кроме страха своего — нет, ты скажи мне, ч т о ?

— Тоже, по-моему, немало.

— Боялся так, что кровь свернулась! Женщин, жизни — всего! По-моему, старик, кузен ее просто пропустил. “Жизнь прошла мимо” — была такая картина? Ладно. Пассон. Давай перенесем внимание во внешний мир. Где же он, мой ресторан?

— Не этот?

— Нет. Мой называется, старик, возвышенно. “L’Empire Celeste”. “Небесная Империя”...

Две-три затяжки — и мы поковыляли дальше. Констанс, Беата, Бруно, Жислен вдаль сворачивали за угол. Больно было видеть, как Алик ступает в лужи.

Мы обошли весь квартал, но “Небесной империи” так и не нашли, хотя, благодаря упорству Алика, сыскали место, где стол был яств: замазанная изнутри витрина нас не отразила, а дверь была забита досками. Признаков Китая — никаких.

— Запад! — сказал Алик. — Ничего стабильного! Дважды в один ресторан и то войти нельзя. Последний раз, представь, гулял я здесь — когда? Ну, перед самой больницей — в октябре. Была “Империя”!

— Значит, обанкротился твой резидент.

— Он просто выполнил задание, — опроверг Алик. — И был отозван — я уверен! Ц е н т р о м !

С серьезным видом он извлек антиникотиновый мундштук, вставил новый “Бояр” — черный табак завернут в желтую, маисовую бумагу — и щелкнул зажигалкой.

— А жаль. Здесь таки-и-е были... эти, как их?

— Креветки?

— Нет.

— Утки с апельсинами?

— Нет... подожди, как же их? Забыл, старик. Но точно помню, были — пальчики оближешь!

Так или иначе, "Империя" накрылась. Оказались мы в эльзасском заведении на площади Републик: прозаический *choucroute royale*, излишним грузом вареной капусты, грудинки и толстых сосисок легший на желудок, и пиво, конечно, несвоевременно ледяное, а главное, усиленная имитация общения, собственное лицедейство на фоне четкого сознания необязательности всего — при том, что в километре отсюда простаивает на незаконченной фразе моя IBM. Перед кофе спустился в туалет, отмыл руки, отлил, машинально закурил, взглянул на себя в зеркало и опустился на ступеньку. Наверху последними конвульсиями воли Алик пытался царить — быть остроумным, быть галантным, говорить комплименты. Соответствовать образу. Я сидел и смотрел на тлеющую сигарету, на пальцы, которые ее держали, на руку — с выступившими от пива венами. В этот час и погоду даже на бойком месте посетителей в ресторане почти не было, и никто мне здесь, на ступеньке, не мешал.

Африканец в вязаной шапочке увез Алика на своем выдавшем виды такси, а мы отправились домой. Пешком по хрупкому льду и жидкому снегу. Наша дочь Беата, Констанс, я — и пара французов. Жислен и Бруно. Она в роскошной длинной шубе, он в шляпе и офицерских сапогах. Было около двух ночи. Зачем они идут за нами — это я не понимал. Во взаимоотношениях людей здесь вообще для меня много неясного. И это я спокойно принимаю. До тех пор, пока они не начинают идти со мной на сближение. Не обнаруживая при этом никаких, мне видимых, эмоций. Я шел и нервничал. "Нулевой градус" увязавшейся за нами пары выводил меня из себя. Это их поколение "Шестьдесят Восьмого" — жуткие люди. Раз на заре туманной юности самовыразившись, они превратились в интровертов. Настолько не обнаруживают себя, что я их побаиваюсь — порознь ли, попарно или скопом. В этом их тихом омуте не просто черти — сам Сатана, мне кажется, — там, под поверхностью, — нетерпеливо бьет хвостом.

Ну, и кроме метафизической тревоги, ведь ясно сказано поэтом: "Любить иных — тяжелый крест".

Так или иначе — мы пришли. Беата нажала кнопку — дверь отщелкнулась.

Из патио на плиты туннельчика натекло, и в луже намокал лист бумаги. Сворачивая на лестницу, я заглянул в него и обмер.

Сквозь воду на меня взглянула родная кириллица.

Страница моего романа!

С рубчатым оттиском резиновой подошвы.

Винтом я взлетел наверх. Сзади гремел сапогами Бруно.

Дверь Себастьяна-дурака была заперта.

Наша — тоже. Но из-под нее сквозило. И бился об нее, визжа, Шогун: я, помнится, его на кухне запираю. Доставая ключ, я повторяю:

— Сейчас, мой мальчик, я сейчас...

Открыв дверь, я шагнул во тьму квартиры — и стая писчей бумаги, сотни машинописных страниц, бросились мне в лицо. Шторы вздувались, окно во двор было открыто. Отбившись кулаками от своего романа, я крикнул на лестницу:

— Нас, кажется, обокрали!..

Подтверждая догадку, под каблуком что-то хрустнуло.

При свете нам предстала картина развороченного дома. Нам — и не званными нами гостям. Я поднял залитую воском бутылку из-под шампанского, Бруно — чем удивил — извлек и раскрыл Pradel, крестьянский нож, одним поворотом металлического кольца превратившийся в боевой: достанет до сердца и не согнется. Включая повсюду свет, мы обошли квартиру. Уже никого. Бруно закрыл Pradel. Вошли женщины.

— ТЕЛЕВИЗОР!!! — с порога вскричала Беата и зарыдала оглушительно и бурно.

Цветной Telefunken из угла зиял чернотой отсутствия.

Бедное мое теледита.

Прижимая к себе щенка, Констанс опустилась на тахту. Шогун скулил, виляя хвостом и бешено зализывая свою вину. Самосознание, как у немецкой овчарки, но возможности, увы, не те. Что он мог, бедняга?

— Он в шоке, бедный, — повторяла Констанс, — мой бедный, бедный! Слава Богу, хоть его нам оставили!

IBM они тоже оставили. Я сбросил со своей машинки книги, снимки в разбитых рамках и просто полароидные и стоял у стола, держа ее за охолодавшие угловатые бока. Это был первоисточник. Всего. У нас вначале было — IBM. И IBM было у Запада, и IBM было Запад. Я включил машинку — она послушно загудела. Все было поправимо. Я отключил мотор и повернулся.

Не снимая шуб, французы из угла наблюдали реакции обобранных эмигрантов.

Что именно украли — в беспорядке трудно было сообразить. Все было усеяно страницами моего второго романа. Еще недо-

писанного, но уже втопанного в грязь. Я опустился на колени, стал собирать, бессмысленно изучая оттиски подошв первых своих критиков. Швырнул все в мусор, поднялся и увидел, что с полки над радиатором исчез черный кубок. Я привез его из Мюнхена. На случай, если придется пить свою цикуту. Я сказал:

— Позвони в полицию, *cherie*.

— А смысл? — откликнулась моя Констанс.

Из комнаты Беаты раздался вопль ярости. С кровати девочки стащили черные сатиновые простыни, чтобы завернуть в них все ее электронные игрушки. Увидев это, я вышел из-под собственного контроля. Однажды я уже выходил — когда ко дню шестилетия дочери из великой и могучей сверхдержавы пришла бандероль от русской ее бабушки. Вскрыв ее, Беата обнаружила внутри старательно раздавленную сапогом таможенника игрушку, рублевого “ваньку-встаньку” из пластмассы, и разорванную пополам — по бледным цветам — поздравительную открытку. У нас — по пути в Штаты — стоял тогда писатель А\*\*\*; при виде этого он тоже забился в истерике бессилия. “Крысы! — сжимал кулаки А\*\*\*. — Крыс-с-сы...” На этот раз крысы были местными. Париж кишит ими.

— Я ебал, йе-бббал! — повторял я за отсутствием в своем словаре более точного адекватата — е б а л — и, рыча, прокладывая дорогу в мусоре, отбрасывая ковбойским сапогом “Go West” книжки на разных языках, фотоснимки, письма, страницы дневников, противозачаточные пилюли и прочий интим, вываленный под ноги. Крысы искали того, чего нет — денег с драгоценностями... Бруно подобрал несколько полароидных снимков. Сидел в расстегнутой шубе, сдвинув шляпу, и изучал их. Снимки были не из тех, что напоказ в семейный альбом, но я ебал. Крысы их видели, пусть и психоаналитик полюбуется. На одном из них Констанс в пальто и сапогах обнимала меня — голого и с фингалом под глазом. При этом мы улыбались. Кому? И, главное, чему?

Явилась полиция. Три белых ажана под началом пожилого офицера-мартиниканца. Четкие, щеголеватые, экипированные до зубов — “уоки-токи”, наручники, дубинки, пистолеты — они хмуро взирали на бардак. Осмотрев разбитое окно, офицер подобрал страницу.

— Это по-русски?

— Да.

— Изящная словесность?

— Она самая.

— Месье! — Мартиниканец выпрямился. — В одном могу вас заверить. Это не КГБ.

— Вы так считаете?

— Месье, поверьте моему опыту!..

КГБ я как-то и не винил. Длинные, конечно, руки, но отнюдь не единственные. У меня были свои подозрения. И с полицией я ими делиться не стал. Ночная стража составила протокол о краже со взломом — еще один случай мелкой преступности, эпидемией захлестнувшей Париж в сезоне смены власти. Мы получили копию — с тем, чтобы приложить к ней опись пропавших вещей, а затем отправить все это в страховальную контору. Какой-то процент будет возмещен. Наличными; как говорят здесь: "жидкими". Ажаны откозыряли.

Перекурив, мы вышли проводить свидетелей. Дождь кончился, лужи замерзли, уши пощипывало. Все уже было закрыто, только на рю Сентанж — Святого Ангела — светилось занавешенное окно кафе. Из-за двери раздавался шум. Я предложил выпить по последней. Мы вошли. Внутри было ярко и тесно. Перегнувшись через стойку, бармен вполголоса предупредил: кафе специализированное. Для гомосексуалов. "В том смысле, что мы можем шокировать клиентуру?" — уточнила Констанс. "Нет, но... — замялся бармен. — Ведь с вами ребенок?" — "Ребенок, он привычный", — отрезала Констанс. Мимо стульев мы протиснулись к озеркаленной стене с подставкой для пепельниц, локтей, стаканов — и оседлали табуреты. Зеркало отражало празднично наряженных клиентов — активных и пассивных. Look они имели разный, и среди молодых людей сверкали заклепками и черной кожей девушки в стиле "Sado-Maso". К зеркалу надо мной полоской скача была приклеена вырезанная из бумаги двукрылая фигурка в джинсах, из коих, как язык, вываливался длинный член — также бумажный. Черным фламастером вокруг по зеркалу было красиво выведено: "NOUS VOUS SOUHAITONS EN CETTE NOUVELLE ANNEE BEAUCOUP DE BONHEUR ET UNE GROSSE BITTE!"\* Я горько ухмыльнулся.

Избегая замечать нависающее неприличие, Жислен и Бруно

---

\* "Много счастья вам в Новом году — и большого хуя!" (Перевод автора.)

сидели с непринужденным видом. В ожидании выпивки они растегнули свои жаркие шубы. Жислен торопливо затягивалась сигаретой, Бруно, взглядывая в зеркало, вминал в свою трубку большой и оранжевый палец. Они жили в XVI округе, и в нашем квартале, который лет пятьсот, если не больше, вполне оправдывал свое название (Maçais, то есть "Болото"), чувствовали себя не вполне в своей тарелке.

Иное дело дочь — несмотря на неполные десять лет. Она тянула сквозь соломинку кока-колу. В черных бархатных джинсах, черном джемпере и серой дубленке была она, и медные ее волосы рассыпались по меховому вороту. Сжимая обеими руками бутылку, она замороженно созерцала отражения карнавальных фигур представителей сексуальных меньшинств. Скандализованные нашим вторжением, нетерпимости они не выражали. Тем лучше для них.

Я посмотрел на Констанс.

— Хуй мне, видишь ли, пророчат на этот год! — сказал я ей сварливо.

Скэрбь сострадания проступила в ее улыбке.

— Но они, — сказал я, — заблуждаются. Не веришь?

— Почему же? Верю...

— А вот увидишь!

Конечно, мой Париж — отнюдь не праздник. Нет, не фиеста! Чего уж там таить. С другой стороны, мне тридцати четырех еще нет. И первый мой роман здесь имел успех. Вернемся — соберу сейчас второй, по листочку, смою с них следы, разглажу, просушу. А главное — машинка. Ай-Би-Эм. Она — на прежнем месте. Она — стоит.

Прибыл коньяк — и я посторонился. Когда бармен повернулся спиной, Жислен переложила в левую руку сигарету в мундштуке — и выдернула из приклеенной фигурки бумажный члси. Я посмотрел в зеркало — за спиной никто этого не заметил. Тощая рука Жислен с янтарным прибалтийским перстнем комкала бумажку.

— Bravo! — сказал Бруно и поднял свой коньяк. — Так выпьем за прекрасных дам. За дам-кастраторш.

Он был вне себя от ярости.

И выпил по-русски.

До дна.

После чего перегнулся ко мне и сделал предложение — переселиться к нему на баржу.

— На баржу? Где это?

— На Сене. У Нового Моста. А кастраторши пусть тебя не пугают, — добавил Бруно. — Мы найдем на них управу. On les encapsule, зашьем в мешок, утопим и уйдем в Атлантику. Друг?

Зрачки психоаналитика сошлись от гнева в две точки.

— On verba, — уклончиво сказал я.

Допил коньяк и расплатился за всю компанию. Рядом, в витрине астрологической лавки, был выставлен политический гороскоп нового Президента. Согласно астрологам, эту страну ожидала безоблачная семилетка.

На площади Республики мы посадили их в такси и — на этот раз уже окончательно — пошли домой. Составлять опись утрат. Я остановился и ударил себя по лбу:

— Бабушкин крестильный крестик! Неужели и его?!!

Констанс стянула ворот свитера, вытащила из-за пазухи и молча показала в щепоти кроткое золотое сияние.

Мы двинулись дальше. Дома ждал нас наш Шогун. Когда-то, на исходе процветания, мы заплатили за него три тысячи одной философствующей фермерше, это было в провинции, причем, в абсолютном географическом центре douce France. И день я помню — зеленый, голубой и солнечный. А он был — блэк.

\* \* \*

Еще я помню, что после вышеописанных событий — наутро — он мне позвонил. Он предлагал мне поднять на предполагаемых обидчиков южных славян с Монмартра — с крупнокалиберным немецким пулеметом проехать вечерком мимо “Сезама” и разнести его до основания, а минетчицу Шехерезаду из погреба — освободить. Романтический сей вариант показался мне избыточным; я отклонил. Он справился, есть ли у меня что-нибудь — в смысле огнестрельное. Был — до той ночи. Он утешил. Огнестрельное ему, в п р и н ц и п е, внушало отвращение — как японцу. Но холодного у него был целый арсенал, и он обещал мне подобрать соответствующий клинок — перед посещением “Сезама”. Вдвоем пойдём, старик: “Сегодня или лучше на неделе?” Мне было лучше на неделе.

“Вызовем их формально: перо на перо! Читал уже, как я с

Хасаном резался? Нет? Ну, прочтешь. Это в Грозном, после войны... А все-таки забавно! — смеялся он. — Гуляешь в заведении с российским Папийоном, а синхронно тебе лепят скок по-парижски! Конгениально, да? Но ты не унывай! Мы с ними жестко разберемся. Перо на перо! Кишки мерзавцам выпустим, а девочку — на волю. Несовершеннолетняя, уверен?"

"Совсем ребенок".

"В принципе, значит, ты d'accord?"

Я был даккор.

"Тогда, старик, в любое время. Алик ждет сигнала!"

Он отключился — больше мы не встретились.

Не по его вине.

Мне все еще тогда казалось, что Запад — это где-то форма бес-  
смертия.

*Мюнхен, 1986.*

#### ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ!

В мае намечается выпуск первого номера литературного альманаха "САЛАМАНДРА".

Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев, М. Каганская и другие.

Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).

Цена экземпляра для подписчика — 16 шек., из-за границы — 12 долл. (включая пересылку).

Чеки слать по адресу: Tarasov Vladimir, POBox 29847, Tel-Aviv 61298, Israel.

*Я вскочила в Стокгольме  
на летучую яхту,  
На крылатую яхту  
из березы карельской.  
Капитан, мой любовник,  
встал с улыбкой на вахту.  
Закружился пропеллер  
белой ночью апрельской.  
И. Северянин*

В Стокгольме Александра поселилась в недорогом пансионе "Карлсон" на Биргер Ярла, напротив Королевской библиотеки. Комната была удобная и уютная, с плотными синими шторами на окнах, с этажеркой с книгами между диваном и шкафом, однако настроение было настолько подавленным, что читать не хотелось. Целую неделю она никуда не выходила из комнаты. Часами лежала без сна в постели, закинув за голову ослепительно прекрасные руки. Глядела в одну точку и все старалась понять: означает ли крушение Второго Интернационала крах социалистических идеалов? Как дальше жить? Как найти себя в этом кровавом хаосе национализма и забвения классовых интересов пролетариата?

Как-то утром, изнуренная бесплодными раздумьями, она обнаружила, что трое суток ничего не ела.

Надев первое попавшееся платье, кое-как припудрив нос,

*Леонид Ицелев*

## **ЛЕНИНСКИЕ КАДРЫ**

(глава из романа-пародии)

она спустилась в столовую пансиона. Был довольно ранний час. Большинство постояльцев еще спали.

За столиком у окна она вдруг увидела Александра Шляпникова, известного большевистского функционера.

— Вот здорово, — воскликнул он, вставая из-за стола. — Так вам, значит, удалось вырваться из Берлина!

Его добродушное лицо расплылось в улыбке.

— Ну, милости прошу в наши северные края.

Через Скандинавию Шляпников осуществлял связь между эмиграцией и большевистскими комитетами внутри России.

Он пригласил ее за свой стол.

— Позвольте за вами поухаживать, Александра Михайловна. Что будете, чай или кофе?

— Пожалуй, чай. Кофе в Скандинавии готовить не умеют.

— Да уж точно. Это вам не Париж. И даже не Вена... С кем-нибудь из местных товарищей уже встречались?

— Я целую неделю вообще не выходила из гостиницы. Когда кругом такое безумие, не хочется никого видеть. — Голос ее дрогнул. — Да и вообще жить не хочется.

— Напрасно вы так, — участливо, почти нежно произнес Шляпников. — Далеко не все сейчас сошли с ума. Надо только оглядеться и прислушаться, и вы услышите людей с трезвыми головами.

— Где вы слышали такие голоса? — Ее губы скривились в болезненной усмешке.

— В Берне.

— Ленин? Так он же одиночка. Кто за ним стоит? Зиновьев, ну вы, кто еще?

— Нас с каждым днем становится все больше.

— Большевистская фракция — это изолированная кучка заговорщиков, возглавляемая диктатором-фантазером!

Шляпников поперхнулся. Откашлявшись, он отложил в сторону бутерброд с ветчиной, вытер губы салфеткой и поднялся из-за стола.

— Я вам отвечу по-рабочему, по-простому. Я сызмальства себе на хлеб вот этими руками зарабатываю и правду нашу рабочую не по книжкам знаю. Я, сударыня, с большевиками с 1903 года, потому как нутром своим понял, что нам, рабочим, за Лениным надо идти, а не за всякими там аксельводами, которые в Цюрихе кефиром торгуют.

— Александр Гаврилович, милый, простите меня, я совсем не хотела вас обидеть. — Александра коснулась руки Шляпникова. — Господи, что же это делается с миром, с нами со всеми! Среди всего этого кошмара на чужбине встречаются два русских социал-демократа и первым делом ссорятся... — Голос ее опять задрожал. — Ссорятся...

Александра стала судорожно искать в ридикюле платок.

— Да уж и в самом деле чертовщина какая-то, — примирительно сказал Шляпников, опускаясь на стул. — Возмись чего-то, как мыши в норе, пищим, а окрест себя взглянуть подчас и забываем. Знаете что, Александра Михайловна, давайте махнем на море! Это ж подумать только, какая погода нынче стоит. На дворе сентябрь, а теплынь, как в июле. Настоящее, извиняюсь, бабье лето. — Шляпников украдкой взглянул на Александру и покраснел.

Александра невольно усмехнулась и велела ему подождать, пока переоденется.

Станция пригородной электрички находилась в десяти минутах ходьбы от моря. Идти нужно было через сосновый лес. Воздух был напоен ароматом хвои и пьянящей морской свежестью.

Море плескалось возле самого леса. На горюшке под соснами они заметили деревянный стол с двумя скамейками простой и прочной конструкции, напоминающей козлы.

Они сели лицом к морю.

Дул легкий ветерок. Бледное небо было безоблачным. Серовато-голубое море чуть волновалось. Мелкие барашки волн торпливо неслись к плоскому берегу.

— Хорошо-то как, господи! — вырвалось у Шляпникова.

“Может быть, удастся загореть”, — подумала Александра, подставляя лицо солнцу. Она сложила зонтик и зацепила его ручкой о скамейку. Зонтик соскользнул и свалился. Она нагнулась, чтобы его поднять и увидела возле опоры стола копошащихся муравьев. Быстро, но без суеты бежали они по своим делам, преодолевая травинки, камешки, мох.

— Взгляните, Александр Гаврилович, такие маленькие, ничтожные, а чудесно организованные, не то, что люди. До чего же досадно за человечество! За глупость людей, позволяющих капиталу управлять собой, вовлекать себя в мировую бойню... Господи, что же сделать, чтобы остановить войну?

— Оборотить оружие против тех, кто эту войну развязал. Превратить империалистическую войну в войну гражданскую.

— Будет ли война империалистической или гражданской, она останется войной. По-прежнему будут литься реки крови, миллионы сильных здоровых юношей по-прежнему будут превращаться в зловонное гниущее месиво, а их нежные любящие подруги по-прежнему будут изнывать от томления лона.

— Мировая гражданская война приведет к мировой революции, а добренький пацифистский мир лишь укрепит господство капитализма. Выступать сейчас с лозунгами мира — это такое же предательство дела революции, как голосовать в парламентах за военные кредиты.

Лицо Александры исказила гримаса страдания. Она обхватила голову руками и склонилась над столом.

Шляпников растерялся. Поначалу он молча ждал, пока она успокоится. Потом он встал, обошел скамейку и, подойдя к Александре, стал осторожно гладить ее плечи.

Она продолжала сидеть, не поднимая головы.

— Александра Михайловна, родная вы моя, не убивайтесь так. Все будет хорошо. Как-нибудь одолеем.

Он опустился на колени и поцеловал золотистый пушок на ее затылке.

— Нет! Так не надо! Встаньте, отойдите! — Не меняя позы, глухо проговорила она. — Я никогда не буду принадлежать к вашей фракции.

— Эхма! — в сердцах произнес Шляпников и зашагал к морю.

Александра подняла лицо, достала из ридикюля зеркальце. Погасшими глазами на нее смотрела немолодая осунувшаяся женщина. По щекам растеклась краска.

“Как же я такая страшная пойду домой”, — пронеслось у нее в голове.

— Александр Гаврилович! — позвала она Шляпникова.

Через минуту он подошел к скамейке.

— Я в таком виде в город не могу ехать. Мне необходимо искупаться. Садитесь вот так, спиной к морю. И не оборачивайтесь.

— Вот и правильно, так-то оно лучше будет. А я пока делом займусь. Владимиру Ильичу в Швейцарию письмишко надо набросать.

Крупными квадратными буквами Шляпников стал заполнять странички блокнота. Он сообщал Ленину о своей нелегальной

поездке в Петроград, о положении в партийных комитетах, о настроениях среди рабочих, отчитывался о поставках литературы из континентальной Европы через нейтральную Швецию в Россию.

Черновой отчет занял двадцать страничек блокнота. Сказано вроде все. Можно поставить точку. Что же это Александра Михайловна так долго купается. Он с беспокойством обернулся.

Александра своей плавной походкой брела по отмели в сторону берега. Шляпников не мог оторвать глаз от ее пронизанного солнцем прекрасного тела. В такт ее неторопливым шагам медленно подрагивали розовый живот и высокие, как у девушки, груди. Она собрала в горсть густые пряди потемневших от воды каштановых волос, выжала их и свернула в большой узел на макушке.

Продолжать разглядывать ее было неудобно, и Шляпников отвернулся. В этот момент раздался крик Александры. Шляпников опрометью бросился к ней.

Она лежала на боку. Тело ее едва было прикрыто водой.

— Ох, простите меня, трусиху, — виновато проговорила она. — Я наткнулась на медузу, дернула ногу и оступилась. Кажется, подвернула палец на ноге, но это пройдет. Извините, что вам из-за меня пришлось в башмаках в воду лезть. Но я попробую выбраться сама.

— Да уж я вас отнесу. А вдруг чего повредили.

Шляпников бережно взял ее на руки и понес к берегу.

Взглянув на его широкие заскорузлые ладони, Александра поймала себя на мысли, что такими руками ее еще никто не обнимал.

Так же бережно Шляпников опустил ее на теплый песок. Он хотел подняться, но Александра не размыкала своих рук.

Пылающие губы Шляпникова стали мгновенно сушить соленую влагу на ее лице, шее, груди, животе.

Ласкающей железной рукой токаря, как наждаком, счищал он с ее бедер и спины налипший песок.

Это было Очищение.

До сих пор она блуждала в сумерках. Совершала неверные шаги. Оступалась. Ей помог подняться простой рабочий. Большевик. Ленинец. Это была ее судьба. Ее счастье. Счастье революционера и женщины.

Она погладила его волосы своей все еще влажной ладонью. Коснувшись губами его уха, прошептала:

— Я хочу отдать себя всю без остатка ленинской фракции.

Когда они вернулись в пансион, Александра повела его в свою комнату. Пока она принимала ванну, Шляпников начисто переписал письмо Ленину.

Из ванны она вышла раскрасневшаяся и помолодевшая.

— Санечка, не обижайся, — виновато сказала Александра, когда Шляпников поднялся ей навстречу. — Я немножко вздремну. После всех этих переживаний и бессонницы я так измоталась.

Не успев коснуться щекой подушки, она мгновенно уснула.

Заботливо укрыв ее одеялом, Шляпников тут же подсел к столу и сделал приписку к своему письму:

”Р. С. Владимир Ильич! Товарищ Коллонтай теперь целиком на нашей “ленинской” позиции”!\*

---

\* Текст письма Шляпникова Ленину хранится в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. См. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 478, л. л. 4—5 об.

#### БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА “ЗЕРКАЛО”

Леонид Ицелев. Александра Коллонтай — дипломат и куртизанка  
(Грезы пчелы трудовой)

Беллетризованная биография Александры Коллонтай — знаменитой русской революционерки и феминистки, министра первого советского правительства, первой в мире женщины-посла.

Книга написана в стиле “дамских” романов начала века. Реальные факты и документы переплетаются в ней с вымыслом. Равное внимание уделено как интимной жизни героини, так и социальным бурям ее эпохи.

Стоимость книги — 33 шек., по подписке — 25 шек. Заказы принимаются по адресу: “Зеркало”, п/я 3391, Тель-Авив 61013, Израиль, а также во всех магазинах русской книги.

## ЮБИЛЕЙНОЕ ИРОНИЧЕСКОЕ

### ИЗ СТИХОТВОРНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ, ЗАЧИТАННЫХ НА ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ ЖУРНАЛА "ДВАДЦАТЬ ДВА"

*Георгий Дризлих*

#### ПО СЛЕДАМ ВАШИХ ЖАЛОБ

Известный американский критик Вильсон, друг Набокова, как-то заметил, что вся великая русская литература является, в сущности, литературой жалоб. Все великие русские писатели жаловались на невыносимую тяжесть бытия.

Журнал "22", этот орган русской интеллигенции еврейского происхождения, достойно продолжает эту традицию. Его авторы бесконечно жалуются на все и на всех — на жену, мужа, детей, родственников, друзей, соседей, коллег, начальство, дороговизну, КГБ, ЦРУ, Шин-Бет, правительство, тоталитаризм, демократию, погоду и на то, что их не поняли, не понимают и никогда не поймут.

Составитель данного поздравления не может не воспользоваться редкой возможностью тоже пожаловаться на страницах "22", предоставленной юбилеем журнала. Он хочет пожаловаться, во-первых, на тех, кто его не понимает, а во-вторых, на тех, кого не понимает даже он. К первой категории относятся женщины-авторы "22".

#### Жалоба № 1, адресованная драматургу Нине Воронель

Она язычница, вакханка.  
Олимп свой собственный блюдет.  
Там Бог Лубянки, Бог Таганки  
И Бог одесской Молдаванки  
И — трепет мужниных забот.

#### Жалоба № 2, адресованная публицисту Нелли Гутинной

Я — пас. Я очень сожалею.  
Могу лишь ямбом иль хореем.  
А к даме с вашим темпераментом  
Стучаться следует гекзаметром.

**Жалоба № 3,  
адресованная эссеистке Майе Каганской**

Каганэ ты моя, Каганэ...  
Потому что я с севера, что ли,  
Я ужасномучительно болен  
В этой грязной, вонючей стране.  
Я – Юпитер, познавший Европу,  
Здесь довольствуюсь черною ж...  
Поимевши, страдаю вдвойне –  
Ах, прости ты меня, Каганэ.  
Поутру поднимусь я на Скопус,  
Прокричу свой обиженный опус,  
Прокляну их: “Горите в огне!”  
Ах, пойми ты меня, Каганэ!  
Я – носитель культуры Ибанской,  
Постоянный читатель Каганской,  
Здесь сию я, по уши в г...  
В этой йеменской и марокканской,  
Гистадрутско-херутско-маланской,  
В этой самой кошерной стране...

Ко второй категории лиц, на которых хочет пожаловаться составитель, относятся те мужчины – авторы “22”, которые в своей высоколобой учености кажутся ему все на одно лицо.

**Жалоба № 4,  
обращенная к ученому соседу по журналу**

У Лукоморья дуб. Зеленый.  
Златая цепь на дубе том.  
И днем и ночью. Кот. Ученый.  
Вокруг да около. Кругом.  
Налево ходит – песнь заводит.  
Направо – сказки говорит.  
О Чудесах и о Природе,  
О нашем Избранном народе,  
О бузине, что в огороде...  
Хоть не из Киева он вроде,  
Но всем известен. Знаменит!

В заключение этого потока приветственных жалоб составитель хочет выразить свои наилучшие жалобы самому юбиляру — журналу "22" по случаю выхода пятидесятого номера:

Вам пятьдесят. Чего же боле?  
Не повернется время вспять.  
А ваш редактор стар и болен.  
Что я могу еще сказать  
Друзьям Синявского и Терца?  
Слова, идущие от сердца,  
Такая редкость в наши дни.  
Да и уместны ли они?  
Сынам страны тоталитарной,  
Недавно прибывшим сюда,  
Как воздух нужен, как вода,  
Такой вот орган. Элитарный.  
Я это чувствовал. Я знал.  
Я — подписался на журнал.

*Михаил Генделев*

#### ЖУРНАЛ

В полдневный жар супруги Воронели  
(На самом деле все у них, как у людей),  
Разгорячась, на солнышке сидели,  
Ища друг дружке в голове идей,  
Поскольку мало есть идей хороших...  
— Журнал! — воскликнул Воронель.  
— Жур-наль-чик! — радостно захлопала в ладоши  
И заскакала непосредственно Нинель.  
И вышел номер. Проза — просто Мерас.  
Поэзия — с рук Дины Гарнизон.  
И драма — о несоответствии размеров  
Двух обаятельных, но эrogenных зон.  
Потом — дискуссия под руководством старших:  
"Йеш трепет или трепет больше эйн?" —  
О чем допрос неоднократно трепетавших  
Герштейн Ларисы и Наташи Рубинштейн.

Под рубрикой: "Русеют ли евреи?" — Орлов, Герасимов, Б. Сидоров и К<sup>о</sup>.  
"Евреи с точки зрения архиерея" — Загоскин, Юрьев и отец Дудко.  
"Есть ли еврейство?" (круглый стол, закуски, Решили есть, но — пропустив стакан, Три доктора-гурмана — д-р Агурский, Любошиц-доктор, Юлий Нудельман) .  
Полемика: "Еврей — он друг террора?" — Похожая на слет военспецов:  
Пилот Э. Дымшиц, штурман — Дора, А бортрадист — геноссе Кузнецов.  
"Антисемит — антигерой антиромана С Н. Антигутиной". "Еврей ли Доберман?" — О чем два мнения. И оба — Нудельмана.  
И оба разделяет Нудельман.  
На сладкое — подол Каганской, снова Воздержнутый на девичьей красе:  
Эссе, в котором ни о ком другом ни слова, А все слова от автора эссе.  
О том же сообщении Бар-Селла.  
"Евреи в лагере" — М. Хейфец. "Сесть и встать" — Вайскопфа, коего б статья имела  
Успех, когда б ее еще и прочитать...  
Опроверженье Бутмана: что будто Не Бутман-Бутман, а Небутман он,  
И не позволит всяким там... Но подпись... Бутман И в скобках — (Бутман. Копия в ООН) .  
Потом "Замеченные опечатки":  
Читайте вместо Воронеля — Нудельман,  
А вместо "Чаплены" читайте просто "Чаплин",  
А вместо Богуславского — роман...

.....

Так вот, когда после солидной пьянки  
Я аргументы исчерпал до дна,  
Я взял журнал, прочел израильтянке:  
"Еще... еще..." — сказала мне она.

## ИЗ ЦИКЛА "ЭПИТАФИИ"

**В. Богуславскому**

Администрация покорно просит граждан  
Не поливать могилы без нужды  
Покойный посадил себя уже однажды,  
Взошел,  
Пожал  
И продавал плоды.

**Р. Нудельману**

Видали мы его в гробу...  
Хорош собой:  
Рука, нога, желудок.  
Весь как живой,  
Когда б не пук на лбу  
От безутешных Воронелей незабудок.

**Зееву Бар-Селла**

Лежит здесь то, что раньше хоть висело  
На организме Зеева Бар-Селла.

## ИЗ ЦИКЛА "К МРАМОРАМ"

**К медальону Воронелей**

Основана фамильная артель  
На сходстве интеллектуалов.  
Анфас любое Воронель — Нинель,  
А в профиль каждое из них — Валерий Чкалов.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*Несколько лет назад издательство "Москва—Иерусалим" выпустило книгу Г. Галкина "Письма к американскому другу-еврею" в переводе на русский язык. Наш журнал публиковал отрывки из этой книги, а также статьи Г. Галкина "Письмо из Синая" и "Колесо истории". Предлагаемая сейчас статья автора перепечатана из газеты "Джерузалем пост" (март 1987 года).*

*Г. Галкин — израильский журналист, репатрировался из Соединенных Штатов около пятнадцати лет назад, живет в Иерусалиме. Он автор многочисленных статей в израильской и западной прессе и активно переводит израильскую литературу на английский язык.*

*Гилель Галкин*

**ВЫЗОВ — ЗДЕСЬ!**

За десять лет, прошедших с выхода моей книги "Письма американскому другу-еврею", я получил множество откликов на нее, зачастую (хотя и не всегда) благодарственных, зачастую трогательных. Но ни один из них, должен признаться, не тронул меня так, как простая почтовая открытка, полученная несколько месяцев назад. На одной ее стороне была обычная фотография "Евреи у Стены Плача", на другой было написано: "Гилель Галкин, спасибо, что вы помогли мне найти мой путь к дому. Американский израильский друг-еврей".

И это все. Даже без подписи.

Трогательно — и немного тревожно. Ибо не так уж легко — особенно сегодня — сознавать, что на твоей совести судьба неизвестного тебе еврея, который под влиянием твоей книги решился на алию.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я по-прежнему и даже больше (если это возможно) уверен, что еврей, который хочет быть евреем, должен жить только в Израиле. Но размышляя о моем неизвестном еврейском друге, этом бывшем американце, я не могу не задуматься над тем, что, затратив много страниц, чтобы объяснить, почему американские евреи должны жить в Израиле, я почти ничего не сказал о том,

к а к им здесь жить, чтобы не разочароваться в своем решении. А ведь самое печальное в американской алии (если не считать ее удручающей малочисленности) — это тот факт, что многие из совершивших эту алию в конечном счете приходят к разочарованию и в результате возвращаются в США...

Поди, найди решение, пригодное для каждого!

Люди вообще — и молодые люди в частности — ощущают понятную и справедливую потребность сознавать, что правильно распорядились своей жизнью, выбрав нечто важное и интересное. Они недовольны, когда эта потребность оказывается неудовлетворенной. Тем не менее я обязан сказать, что в сегодняшнем Израиле практически нет реальной возможности удовлетворить эту потребность в коллективных, организованных рамках. Там и сям — возможно; как путь для всех — увы, нет. Как и в остальном западном мире, частью которого, к добру ли, к худу, мы являемся, мы живем здесь в обществе все возрастающей разобщенности, "приватности", в котором коллективные начинания не имеют особых перспектив. Об этом можно сожалеть, это можно осуждать, но это факт. Поэтому ощущение значимости и важности нашего пребывания здесь каждый из нас вынужден искать в своей личной жизни и для себя лично.

Но тогда — зачем стремиться в Израиль, если личную жизнь можно устроить точно так же, если не лучше, в Америке? Этот вопрос задают себе тысячи разочаровавшихся иммигрантов в Израиле; этот вопрос задают себе сотни тысяч американских евреев, которым только подай еще один довод против алии; и я боюсь, что мой ответ на данный вопрос разочарует многих из этих людей.

Ибо все, что я могу сказать, сводится, в сущности, к следующему: то, что может дать вам Израиль, — это само ощущение, что вы находитесь здесь, что вы стали частью еврейского народа, живущего в собственной стране, строящего собственное общество, определяющего свою собственную судьбу, — народа, который отчаянно нуждается в вас, потому что эта судьба определится, в частности, тем, живете вы здесь или нет. Вам кажется, что этого мало? Мне это говорит необыкновенно много.

Разумеется, если вы предпочитаете мыслить "масштабно", тем лучше; но я, за те шестнадцать лет, что живу здесь, приучился мыслить "малыми" категориями. В конечном счете общество — это сумма его частей, и будучи его частью, вы добавляете нечто

свое к этой сумме, — даже если ваше самолюбие и не очень польщено сознанием, что вы добавили к ней всего лишь единичку. Просто живя в Израиле; работая здесь; пытаясь быть гражданином здесь; рождая и воспитывая своих детей здесь; передавая им свои ценности и демонстрируя эти ценности другим здесь — одним этим вы уже вносите значительный вклад. Разумеется, вы можете делать то же самое в любой другой стране мира — но любая другая страна мира не будет еврейским государством. И этим все сказано.

Но мне недостаточно этого, скажете вы, я хочу ощущать, что участвую в чем-то значительном и особом! Пожалуйста, вам никто не мешает. Ищите это участие на тех же путях, на которых искали бы в любой другой стране мира — в общественной жизни, в карьере и творчестве, в личных достижениях, наконец. Только не считайте это непременно условием вашего пребывания здесь. Подобно многим другим обществам, даже больше, чем другие, Израиль нуждается и в самых обыкновенных людях, которые самим фактом своего пребывания здесь и принятия на себя части общего бремени вносят вклад в наше общее благополучие. Если вы принадлежите к таким, вы тоже необычайно важны для Израиля. Вы вовсе не должны чувствовать себя незначительным и уж наверняка не должны чувствовать себя в чем-то виновным.

Я действительно испытываю некое сожаление, когда слышу тех репатриантов (да и израильтян тоже!), которые жалуются, что эта страна и жизнь в ней кажутся им “провинциальными”. Они участвуют здесь в одной из величайших исторических драм, когда-либо переживавшихся человечеством, — но это им почему-то кажется недостаточно интересным! Однажды на лекции, в ответ на аналогичную жалобу, я сказал такому “столичному” снобу, что ему, наверно, даже у горы Синай, во время дарования Моисеем Закона, было бы скучно и он ворчал бы, что, вот, в Египте жизнь была куда как более интересной. Тот факт, что человек участвует в феноменальных событиях, еще не означает, что он способен увидеть и осознать их феноменальность.

В этом, вероятно, и состоит мой главный совет тем, кто приезжает сюда: учитесь видеть. И если вы однажды увидели, не позволяйте впредь ничему замутнить это видение. Здесь так легко втянуться в свои заботы и погрузиться в повседневную борьбу за экономическое благополучие (а тяжесть этой борьбы нам всем известна!), что мы склонны забывать о громадности всего, проис-

ходящего вокруг — громадности того, частью чего мы сами являемся. Я не хочу этим сказать, будто следует утешаться участием в коллективной драме истории как суррогатом всего, чего хотел бы достичь в личной жизни. Такой самообман не проходит. Но если ты удовлетворен своей личной жизнью здесь, если она кажется тебе настолько осмысленной, насколько тебе бы хотелось, тогда сознание, что она вдобавок еще является частью чего-то намного более значительного, дает ей дополнительный смысл, которого она не получит ни в каком ином месте. Я надеюсь, что мой новый друг-израильянин согласится со мной.

### НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

#### "Евреи и еврейская тематика в советских и восточноевропейских публикациях"

Бюллетень Центра по исследованиям и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете.

Выходит три раза в год на английском и русском языках.

Бюллетень широко отражает идеологические и политические изменения в СССР, дает их квалифицированную научную оценку, комментирует и анализирует текущую периодику. В нем представлены исследования научных сотрудников Еврейского университета и ученых Израиля. Каждый номер бюллетеня содержит аналитические статьи, рецензии и аннотации, комментарий текущих событий, документы и их юридический анализ. В последних номерах статьи М. Каганской "О Велесовой книге", М. Дымерской "Корнеев как феномен советского антисемитизма 70-х—80-х гг.", М. Хейфеца "Антисемитизм национал-государственников" и др. В ближайших номерах: анализ партийной критики расистской концепции антисемитизма, рецензия на поэму А. Вознесенского "Пов", комментарий к последним интервью А. Вознесенского и А. Зивса, юридический анализ нового закона об эмиграции.

Принимается подписка на 1987 год (№№ 4—6). Стоимость годовой подписки — 12 шек. Предыдущие номера — по 3 шек. Заказы высылать по адресу: Center for Research and Documentation of Eastern European Jewry, Hebrew University, Givat-Ram, Jerusalem 91904, Israel.

(Указать, на каком языке и с какого номера вы хотите получать бюллетень.)

*Статья Александра Этермана предлагает новый взгляд на основные проблемы Израиля, трактуя их как следствия одной и той же общей проблемы — еврейской. Тем самым она входит в круг наших размышлений о судьбах израильского общества и смысле происходящих в нем процессов.*

*А. Этерман — в прошлом активист еврейского религиозного движения в СССР, преподаватель иврита, в настоящее время живет и работает в Иерусалиме. В нашем журнале было опубликовано интервью с ним, рассказывающее о религиозном возрождении среди евреев СССР (см. № 47).*

*Александр Этерман*

## **ИСТИНА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ**

Говоря откровенно, я только в Израиле почувствовал, что такое расстояние, не несчастные московские двадцать минут до пересадки, а настоящее, длящееся и изматывающее. Вот, я ехал на днях из Иерусалима в Бейт-Шеан, не первый раз, второй, и опять к концу почувствовал себя разбитым — и это от поездки на такси — и все же щедро вознагражденным. Это непросто, — проехать центр города, самый верх, и минут через десять очутиться в Иудейской пустыне, спуститься затем более, чем на километр, вниз, к Мертвому морю, свернуть, не доезжая до него, на север, на Иерихо, и дальше, по изрытому петляющему шоссе, ехать вверх, к Кинерету, почти сто километров, тысячи витков по долине Иордана над рекой, — где на свете есть еще такой перегон? В первый раз я в Бейт-Шеане еле вылез, разбитый и оглушенный, и всерьез испугался, что все это не для меня. На сей раз я держался лучше, но тоже не героически, — вскоре после выезда из города, когда дорога уже повернула на восток и закружила между волнообразными желтыми холмами, где-то на горизонте, далеко и невероятно высоко в воздухе, возникли призрачные и туманные горы Моава, более высокие, чем здешние, и я

подумал, что это не сочетается, Иудейские Горы, оказывается, — нечто близкое и прозаическое, а вот горы Моава — это да, это Иордания, интересно. Но мое внимание вскоре было чем-то отвлечено, возможно, отметкой о прохождении уровня моря, — убрать какие-то семьдесят километров Израиля — и море с легкостью затопит эту единственную на свете долину, так что дальше, может быть, и спускаться небезопасно. Это несерьезно, но я не поручусь, что намного нереальнее, чем иные угрозы существованию Израиля. Говорят, что любимая шутка местных гидов — в этом месте рекомендовать немедленно закрыть окна в автобусе, несмотря на жару, чтобы в случае чего не утонуть. Горько, но, конечно, здраво, многим из нас наше существование на этих семидесяти километрах представляется по сию пору весьма эфемерным, в отличие, скажем, от существования цюрихских банков, а ведь в Швейцарии когда-то был Вильгельм Телль, — и все же я, посмеявшись, рискнул продолжить путь с опущенными стеклами. Но речь, собственно, о другом. Я собирался провести субботу в одном месте совсем недалеко от Иордана, и разумеется, добрал до реки. Зрелище было грустное. Где-то внизу река и вправду течет, и наш берег крутой и неудобный, а тот, другой, зеленый и пологий, сады подходят прямо к воде, люди тоже, хотя вода плохая, и выглядит это уютно и спокойно, и ясно, что на том берегу никто ничего не боится. Меня же не только от Иордана, но и от обрыва отделяли два ряда колючей проволоки, а пространство между ними было густо усыпано самыми настоящими минами, зелеными коробочками и проводами. Когда-то, конечно, они были покрыты слоем земли, но дожди землю смыли, и теперь они так и лежат, прямо на виду. Но это только на нашей стороне, и я искренне завидовал иорданцам. Прямо напротив, уходя вверх почти на километр, стояли горы Гилада, и я не мог отвести от них глаз, ни тогда, ни позже, до самого конца субботы, и даже на обратном пути. Я спрашивал у всех подряд, хотят ли они туда, и они говорили, что еще тут не обжились, правильно, но я все равно рвался к этим горам, и никак не мог понять, какое отношение к ним имеют местные кибуцные дела, незаселенность Галилеи и арабы Самарии, к ним и к тому, что они мои, моя неотъемлемая собственность, и если другие их не хотят, так я завоюю их для себя и буду владеть единолично, и мне обещали привезти камень с одной из вершин Гилада, я спросил с надеждой, откуда они его возьмут, они сказа-

ли — есть возможность, и потом, сжалившись, пояснили, что об этом вполне удобно попросить араба, собирающегося посетить Иорданию, и что он не удивится, ибо знает, что такое ностальгия. Я вспомнил, как мне привезли в Москву, после долгих просьб, кусочек Храмовой горы, и что это было грустно и утешительно, но в несравненно меньшей мере, теперь я это ощутил, одно дело — мечтать об Иудейских горах в Москве, и совсем другое — о Гиладе, стоя почти у его подножия, и я никак не мог понять, отчего другие смотрят на Гилад так спокойно, и неужели он им уже приелся, потом решил, что я просто никак не могу привыкнуть к нынешним границам, вернее, ограничениям, там, в России, столько лет отрицалось самое мое право иметь здесь родину, что я привык к такой постановке вопроса, и когда выяснилось, что прав я, а не они, и они сдались и тоже согласились, выяснилось, что доморожденные реалисты оспаривают у меня разные ее части, — как будто вообще могут быть разные права на Гилад, Самарию или Галилею, — а я никак не могу к этому привыкнуть. Увы, я стоял и смотрел и был совершенно беспомощен, и мой авантюристический склад характера не мог ни на что меня подвигнуть, иорданцев я не боялся и не ждал от них проблем, но что я мог поделать с этими минами, вымоченными дождем, отутюженными солнцем и непонятно почему только не взрывающимися? Израиль, конечно, огромная страна, я подумал, что даже если взять Россию, разобрать на кусочки и втиснуть, скажем, в Крым Кавказские горы, балтийское побережье, Среднерусскую возвышенность (немного), оставить Ялту, добавить кусочек Урала, тайги, тундры и Каракум, все равно ничего путного не получится. И еще, я понял, приблизительно, конечно, как это было, когда Моше стоял и смотрел с другой стороны, не с Гилада, с Моава, но это, в общем, не так уж важно, и не мог отвести глаз, и надежды у него не было, а у меня она есть, и мне совсем не нужна война, и я вижу будущее этой земли гораздо проще и прагматичнее, и хочу, чтобы в Эрец Исраэль было пятикратное еврейское большинство, живущее по еврейским законам, и против иорданцев я ничего не имею. А на Моав я тоже смотрел, только неделей раньше, из Мацады, и между нами был перешеек, прямо посреди обмелевшего Мертвого моря, и, разумеется, приглашал прогуляться, но внизу, прямо подо мной, только камень не добросишь, стояли знаменитые римские военные лагеря, штук шесть или семь, которые когда-то блокировали Мацаду, — ну,

а что они делали теперь? — и я, пока взбирался на гору, спрашивал у тех, кто шел мне навстречу — а среди них попадались ребята с оружием — нет ли там наверху римлян, и они с полным пониманием отвечали, что нет, римлян не было не только там, но и нигде больше, и никто не может сказать, реставрируя Колизей, что восстанавливает свои собственные древности. Правда, там, наверху, бродили монахи в черных рясах и бойко говорили по-итальянски, но их история не занимала, и легионы тоже, они были по-своему милы, беззаботны, пытались приласкать моих детей, и — о деталь! — пришли в полнейший восторг, узнав, что моего младшего сына зовут Иегуда, и приняв это за национальное самобичевание.

Спуститься оттуда десять минут, и я еще подумал, прыгивая, раз это так просто, — что, если я займу Гилад? — но меня отрезвила популярная израильская частушка:

А из нашего окна  
Иордания видна,  
А из вашего окошка  
Только Сирия немножко... —

оказавшаяся впоследствии перевернутым четверостишием А. Якобсона и прозрачно намекавшая, что это не самая свежая мысль в нашем королевстве, и в случае неудачи позору не оберешься. И потом, я с детства знал, что такое Сирия, на Голанах она меня не смутила, сердцебиения не вызвала, отвращения тоже, но вот Иордания! Что такое Иордания? И если она видна из окошка, — а ее даже из Иерусалима видать — то разве можно назвать этот важный повседневный предмет так грустно и безлико?

В свете вышеизложенного особенно важно уяснить себе смысл слов, которые в нелегкие времена иногда с третьего раза становятся терминами. Тогда, глядишь, не останется предмета для спора, а противоречия пропадут или смягчатся, недаром мы так часто попадаемся в задачках на косность мышления. Но, разумеется, мы все равно останемся косными и будем стоять на своем, можно надеяться только, что непримиримые позиции несколько сблизятся. С другой стороны, если бы не косность духа, трудно понять, что заставляет нас предпочитать одни аргументы другим, а потом еще и их держаться. Возможно, решение где-то посередине, не бороться с косностью и не лелеять ее, а попытаться учесть и исчислить, что она делает со здоровой точкой зрения. Мы — в том числе и автор сих строк — обязаны быть правдивыми, а

не откровенными, и тем более совершенно ни к чему представлять перед читателем чересчур обнаженным, и куда сподручнее одетым и даже переодетым. Переодетым, повторяю, сподручнее, истина колетса и обжигает, но рукой в перчатках ее вполне можно потрогать. Скажем, Одиссей, вернувшийся в конце концов домой — разве мог бы он, не будучи переодетым, обратиться столь странным образом к отцу, доведенному до крайности на старости лет:

Но отвечай мне теперь, ничего от меня не скрывая,  
Кто господин твой? За чьим плодоносным ты садом здесь смотришь?  
Также скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать,  
Вправду ль на остров Итаку я прибыл, как это сказал мне  
Кто-то из здешних... (Одиссея, 24—256—260) .

А ведь он не только знал, где находится, но и покончил уже с пресловутыми женихами и восстановил порядок, и нужно все это ему лишь для того, чтобы испытать отца:

...Испытать я намерен,  
Буду ль им узнан, меня угадают ли старцевы очи,  
Или от долгой разлуки я стал и отцу незнакомцем. (Там же, 24—216—218.)

Теперь, когда он раскрыл свое инкогнито, переодевание становится неизбежным, приходится задавать вопросы, ответы на которые хотя бы отчасти известны, чтобы правда, свежая и сомнительная, сосуществовала с собственно истиной и апробировалась ею. Скажите, разве не все эти вопросы необходимы Одиссею и разве хоть на один он с самого начала не имел ответа? Все дело в том, что он знает, что является настоящей темой разговора, а Лаэрт нет. Итак:

Скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать... — что за истина? —  
Вправду ль на остров Итаку я прибыл, как это сказал мне  
Кто-то из здешних...

Так ведь кто-то уже сказал! Но ему вовсе безразлично, каким тоном сообщит ему отец, что он прибыл на родину. Значит, —  
Вправду ль на остров Итаку...

Я приехал в Израиль настолько недавно, что сам еще к этому не привык и поэтому вполне осознаю свое счастье. Израиль оказался примерно таким, как я ожидал, но превзошел самые смелые мои ожидания; так, покупая заочно — были бы деньги —

бриллиант, задействованный в каталоге, я довольно точно знаю его размер и форму, но вряд ли могу всерьез представить, как он блестит. В Израиле же, наряду с блеском, меня поразила полная бесчувственность к нему израильтян всех взглядов и званий, слепота, вызванная, быть может, чрезмерностью блеска, если он, и правда, может повредить глазам, а если нет — просто привычкой к нему. И еще — я прямо на улице встречаю сейчас людей, с которыми расстался в Москве тринадцать лет назад, или иностранцев, с которыми случайно сталкивался в Москве, скажем, на научных конгрессах, и вижу, каковы они в действительности. И самое главное, я теперь уже весьма скоро узнаю, что сделает Израиль со мной самим.

Признаюсь откровенно, мне в Израиле неплохо еще и потому, что я довольно ясно представлял, чего мне будет не хватать. Ожидания оправдались, и все же меня поразило контрастное между тем, что было бы естественно здесь найти, и запутанной реальностью, как будто заимствованной из сатирических романов. Эта земля, с начала времен уготовленная для титанов, готовая их вскармливать, спаивать и обеспечивать всем необходимым, выращивать пшеничные зерна размером с фасоль и шить костюмы семидесятого размера, лишена всего этого и носит сейчас людей, в массе своей лишь чуть-чуть отличающихся от тех, кого я встречал в Венском аэропорту. То есть, недостает как раз того, чего нельзя получить ни в каком другом месте, — скажем, так в Австралии могло бы не хватать кенгуру, — того, что, как учение Коперника, не вяжется с жизненным укладом, и представляет собой, тем не менее, обыкновенную реальность, только загнанную в угол, — демонстрации исключительности Эрец-Исраэль под еврейским суверенитетом, того, что она способна дать только еврейскому народу, того, что только мы сами и можем у себя отнять, что и делаем чрезвычайно успешно, как раз того общества и тех законов, которые дали бы нам возможность пользоваться этой землей в соответствии с ее свойствами и назначением, того, за что мы шли на смерть и в изгнание и от чего теперь отказываемся. Вспоминается обидная фразочка: "Мы две тысячи лет мечтали о восстановлении Израиля, и надо же было этому произойти именно при нас!" Да ведь это же скорее про нас, чем про тех евреев, которые не хотят иметь с Израилем ничего общего! Добрая половина того, что было обещано нам пророками и мудрецами, что составляет основу нашей веры и нашей культуры и, в общем,

львиную долю того, что отличает человека от дикого зверя, сбывлась за последние десятилетия быстро и охотно, как только мы, пусть неосознанно, ступили на давно и ясно указанный путь. Плодородие вернулось к пустынным почвам, огромные армии стали разбегаться перед горстками еврейских солдат, — но может быть, эта самая легкость пагубно на нас подействовала, — по идее, дальше мы должны были бы не идти, а бежать, лететь, ибо дальше нас ждали зерна с фасоль, и вода в пустыне, и новые отношения между людьми, а не просто грустная победа в очередной войне. А мы стоим. Ничто не могло бы быть хуже, но утешает удивительное нахальство, с которым мы это делаем. Мы живем здесь, как выясняется, без всякой поддержки сверху, спим ночами и даже слегка ссоримся — симптом безмятежности, — и это при том, что при “беспристрастном” ходе вещей мы не выстоим тут и недели даже безо всякой войны. Стало быть, раз не бежим, то все-таки верим, пусть непоследовательно, что ход событий в Израиле и вокруг диктуется чем-то иным, нежели стратегические обстоятельства. Впрочем, есть еще одно объяснение, и суть его в том, что к сверхъестественному тоже можно привыкнуть (помните, Воланд говорил — он так долго уверял меня, что меня нет, что я ему почти поверил). Евреи в пустыне ежедневно получали ман, видели столб огня, прокладывавший им дорогу и т. д., разве не естественно в таких условиях верить и подчиняться — так нет, у них довольно скоро зародились сомнения. Выходит, мы еще не самые большие малoverы. Что ж! На этот раз все в порядке, слепота не дает нам разглядеть, что вокруг нас происходит, но одновременно вера, она же чувство безопасности, сидит в нас столь глубоко, что мы начинаем думать, что жить на вулкане, и правда, безопасно, что гранаты взрываются, в основном, в руках у террористов, а займы падают с неба. Странноватое равновесие устойчиво. — Но, против ожидания, я оптимистичен. Раз уж мы (или те, кто были до нас) создали государство Израиль вопреки здравому смыслу, а также и принципам, которые мы подчас защищаем, то, просто не давая ему погибнуть, мы (или те, кто будет после нас) волеяневолей приведем его к царству Машиаха, к зернам с фасоль и дождям в субботние ночи, только чуть медленнее и заплатив дороже, чем следовало бы. Мы докажем, что в Израиле можно справиться и с войной, и с экономикой, и с воспитанием детей, и что многие проблемы тут просто надуманы, а до настоящих у нас еще не дошли руки.

Я упомянул уже, что надеялся поучиться на опыте тех, с кем когда-то расстался в Москве, и я специально их разыскивал. Удивительное дело, те, кто приехал больше, чем десять лет назад, почти поголовно предвзяли объятия одной и той же фразой. Я думал даже, что это местная шуточка. Фраза была такая: “Ты здесь? Ты уже сообщил родителям, что им ни в коем случае ехать сюда не следует?” Столь дружные предупреждения старожилов наводили на грустные размышления, ибо продолжали они примерно так: “Ты не удивляйся, я сам вполне доволен, но мне стоило большого труда чего-то добиться, большинство моих коллег вообще уехало в Америку, так как тут не хватает мест для людей с высокой квалификацией. У меня самого все в порядке, — я изо всех сил старался не перебивать, — но вот твоему отцу сюда ехать ни в коем случае не надо, там он живет мирно, а тут будет либо доживать на твоём иждивении, либо голодать на пенсию, о приличном медицинском обслуживании поневоле придется забыть, а главное, придется забыть о работе, раз он уже не способен драться за нее зубами и ногтями, а что он без работы?” Мой отец — прекрасный математик с длинным послужным списком — по сей день работает в провинциальном вузе и пользуется там заслуженным уважением, кажется, именно это обстоятельство и вызывало у моих собеседников тяжкую ностальгию. Честное слово, это было грустно и непонятно, — после десяти-одиннадцати лет в Израиле — “Неужели ты! Когда приехал? А ты уже сообщил родителям...” Но эти самые люди на вопрос — как у вас с ивритом? — как один отвечали: “О, превосходно, я уже года три как начал говорить!”

Уже потом мне бросилось в глаза, что евреи, приехавшие из СССР в 1971–1977 годах, большей частью все еще чувствуют себя в Израиле неуютно, как будто процесс их абсорбции находится в одной из своих болезненных фаз, а ведь он, по существу, уже давно закончен. Беда в том, что они уже сформировались на новом месте, нашли занятие и вполне примирились со своей психологической, идейной и чуть не национальной чужеродностью. Теперь, чтобы срастить их с Израилем, нужно искоренять предрассудки, а ведь ломать не строить, куда как труднее. На сегодня они, в большинстве своем, с презрением относятся к тому, что в стране происходит (как же, столько склок на такой маленькой территории, кстати, Неру, излагая своей дочери Индире всемирную историю, писал примерно так: “Я должен посвятить несколько

страниц истории Палестины, это маленькая страна, не имеющая особого значения или влияния, но ты наверняка о ней слышала, и к тому же о ней много говорится в Библии, так что совсем не упомянуть ее, наверное, неправильно...”) , подозревают государство в мошенничестве (как будто государство может мошенничать! Оно может, разве что, быть несправедливым), считают израильтян невоспитанными и некомпетентными, сефардских евреев одновременно угнетенными и отсталыми, американцев — благодетелями, одним словом, ситуацию — очень плохой. Все это, однако, не мешает им быть довольными своей участью. Проще всего было бы заключить, что в своей прошлой, советской жизни они стали чрезмерными индивидуалистами, но я боюсь, что законченную форму их индивидуализм обрел в Израиле. Они не приобрели представления о еврейском взгляде на вещи, ценности, обыденную жизнь, думая при этом, что обрели взгляд общезападный или специфически израильский, но он оказался скучно идеологизированным и совершенно лишенным корней, в то время как любой, самый либеральный или консервативный француз если не мыслит, то чувствует себя законченным галлом или провансальцем. С самого начала еврейская традиция не была предложена им хотя бы как альтернатива, для них она не мировоззрение, а политическая платформа, позволяющая неплохо устроиться в стране ценой ряда бытовых ограничений. Они не знают о еврействе того, что любой израильский ребенок, даже воспитанный самым секулярным образом, воспринимает как часть самого себя, что, в конце концов, вполне уместилось когда-то в тексте пасхальной агады и что и делает его евреем, а заодно и израильтянином, который просто не может наблюдать за всем со стороны. А ведь еврейское наследие весьма легко доступно. Другим приходится совершать великие археологические открытия, расшифровывать забытую письменность — нам достаточно открыть книгу. Стало быть, недостает мотивации, если не интеллектуальной, то хотя бы национальной. Что ж, и раньше многие предпочитали умереть, но не подвергнуться еретическим методам лечения вроде умывания, диеты или прививок. А ведь достаточно открыть книгу, чтобы увидеть, что речь идет не о сказках и не об обрядах, а о подходе, которым наука лишь пытается овладеть, да и сами проблемы окажутся вовсе не оригинальными. К такому состоянию более или менее близок израильтянин нейтральных взглядов, но русский еврей из алии семидесятых весьма от него далек, и стоит

подумать о том, чья это вина. В России он не успел хлебнуть еврейской учебы и даже еврейского движения, успешно избежал он их и в Израиле, а система абсорбции очень тому поспособствовала. Он приехал во времена, когда экологических ниш, по чьему-то выражению, было больше, но язык зачастую знает хуже, чем те, кто приехал позже, чувствует себя много неудобнее, хорошо понимает, что что-то не так, и редко осознает, в чем дело. Ему недостает естественной связи со страной, которая сродни инстинкту стяжателя и, возможно, оправдывает его существование, связи не с реалиями и учреждениями, а скорее с прошлым, чем с будущим, и с землей, чем с урожаем, ощущения незабываемого, для меня, новенького — непривычного и освежающего, а в Эрец-Израэль еще и чувства, что мы стоим тут исключительно по воле Всевышнего и вопреки законам истории — если только повиновение Его воле можно назвать нарушением каких-либо законов. Впрочем, стоять вопреки всему без поддержки национального чувства действительно нелегко, можно впасть в отчаяние. И тогда мы становимся свидетелями разброда, и вдруг оказывается прав бедняга Хайдеггер, и история — действительно не общая задача, а общая судьба людей, и весь наш экзистенциальный выбор — стоять и верить в свою правоту или стоять и не верить, — но тогда зачем все это нужно? И, пожалуй, от этого и начинает светиться тоска в глазах некоторых депутатов Кнесета. Неспроста Одиссей спрашивает с таким необоснованным волнением: “Правда ль на остров Итаку я прибыл?” Если он всего только изображает неведение — то не переигрывает ли? Что с того, что по дороге у него было несколько вполне комфортабельных остановок? По-видимому и он, и все окружающие видели в Итаке нечто особенное и не просто притягательное, а лишаящее выбора — самодовлеющую ценность. “Правда ль и действительно правда ль, что это и правда Итака?”

Существующую систему абсорбции ругают на чем свет стоит — и, наверное, зря, ведь она делает свое дело, — остается лишь выяснить, какое. Насколько мне известно, системой абсорбции у нас называют службы, обслуживающие репатриантов, а абсорбцией — их деятельность, но тогда, пожалуй, что-то стряслось с нашими представлениями о жизни и о языке одновременно. Ведь, по существу, это значит назвать вращение ложки в стакане процессом растворения сахара. В конце концов, в Америке такое определение могло бы иметь смысл. Если бы мы растворяли не

сахар, а манную крупу, — а в России иногда подмешивают манку в сахар, ибо она в нем неразличима, а стоит дешевле — то поскольку манка все равно растворяться не думает, за ее абсорбцию в чае сойдет и простое взбалтывание напитка. Но абсорбция сахара — нечто более серьезное. Бытовая, техническая, механическая ее часть могла бы нас, в конце концов, и удовлетворить, ибо с большими или меньшими затруднениями все репатрианты устраивают свои дела. Зато системы абсорбции, задача которой — помочь врасти в страну и в национальные ценности, у нас просто не существует. Беда в том, что нынешние центры абсорбции, по существу, являются дешевыми гостиницами, в то время, когда их прямое назначение — быть школами — реализуется лишь в той части, которая относится к обучению языку. Где же, как не там учить иврит? Правильно, но где же ликвидировать отчуждение от еврейских ценностей? Репатриант абсорбируется, увы, не на службе и не в магазинах, а в стране и среди людей, духовных ценностей и традиций, а в наших ульпанах ничему такому не учат, и это в стране, где большая часть населения — репатрианты и их дети. Чему же мы потом удивляемся? Безразличию к еврейским ценностям? Или, если это нас не волнует, то к интересам государства? До тех пор, пока, наряду с уроками иврита, в ульпанах не появятся занятия по иудаизму, еврейской истории, — и о самом Израиле, кстати, — то, что происходит у нас с олим, должно называться не абсорбцией, взбалтыванием в смеси, настаивающейся в нашем ближневосточном Люксембурге. Разве поверит оле, что он приехал в страну, еврейскую только по названию, что она не занюханная губерния, изображающая из себя государство? Впрочем, отчасти это еще и политический вопрос, ибо для многих групп в израильском обществе нет ничего более чуждого и опасного, чем еврейская учеба. Но тут мы подходим, пожалуй, к коренному вопросу израильской жизни.

Израильское общество, к сожалению, основательно расколото по нескольким направлениям. Если оставить в стороне вегетарианцев, феминисток и любителей старой музыки, то приходится констатировать, что основные линии фронта проходят, как в детской игре, — между левыми и правыми, космополитами и националистами, религиозными и нерелигиозными... Это более или менее понятно. Удивительно другое — сами эти понятия определяются у нас совсем не так, как в энциклопедическом словаре. К примеру, разногласия на религиозной почве я не случайно оп-

ределил как разногласия между людьми, а не платформами, — в Израиле нет серьезных разногласий на религиозные темы, если не считать малосодержательных попыток реформистов добиться официального признания, — споры идут лишь о месте религии в общественной жизни. Ничего не стоит предположить, что это естественно — кому в наш терпимый век придет в голову конфликтовать по существу вопроса? Но вот религиозный министр пытается блокировать введение в стране летнего времени, — вопрос, касающийся чего угодно, только не идеологии, — и где она, терпимость? И любопытное дело, нападки сторон носят обоюдоострый характер, и оба лагеря обвиняют друг друга в попытках изменить облик страны, безусловно, стремясь именно к этому. И еще — смущает резкость тона, часто внешне неадекватная остроте обсуждаемой темы или хотя бы степени практической в ней заинтересованности. Ну почему, например, так страстно борются нерелигиозные круги в стране против известной поправки к закону о репатриации, по существу, просто отрицающей правомочность неортодоксального гиюра? Если гиюр — всего лишь процедура, то какая им разница, кто и как ее осуществляет? Более того, по идее им следовало бы стремиться не облегчить процедуру перехода в иудаизм, а всячески усложнить, а то и вообще “прикрыть”. В самом деле, как это процедура религиозного толка может сделать человека евреем? Вряд ли, однако, это борьба за голый принцип, за то, чтобы досадить противной стороне, — бороться с такой страстью можно только за одетый принцип, облеченный в плоть полновесных ценностей. Или — еще хлеще — почему разразилась такая буря вокруг поправки к закону об абортах? — помните, когда религиозные партии попытались ограничить аборты по социальным мотивам? Ведь и она не имела практического значения, так как врачи сразу объявили, что найдут у каждой желающей тяжкие медицинские противопоказания против беременности — кстати, почему промолчал юридический советник правительства? — а карты у них, конечно, в руках. Из-за чего же бушевали страсти? Из-за того, что принятие поправки означало бы успех “религиозных”? Прекрасно, но почему тогда почти все так спокойно принимают кашрут в армии, и — если уж совсем серьезно — отсутствие в Израиле гражданского брака и так негодуют против того, что в субботу не работает общественный транспорт, и против предложения р. Кахана запретить сожительство представителей разных национальностей — на мой взгляд противники могли бы ехидно

ухмыляться, а не негодовать, на что автор предложения явно рассчитывает? Кстати, раз уж мы начали с гиюра — высказанное выше предположение, что нормальный нерелигиозный человек стал бы бороться с гиюром, как таковым, а не с его разновидностями, вовсе не голословное. В России, где атеизм не замешан на политических дрязгах, я многократно становился свидетелем свирепейших нападков на саму идею гиюра. Нерелигиозные евреи всех направлений дружно отстаивали принцип “чистоты расы”. Ничто не может быть естественнее. Люди, для которых еврейство — пустой звук, и не ассимилированные при этом, встречаются очень редко, тот же, кто к еврейским проблемам стихийно небезразличен, поневоле начинает обороняться. И еще одно отрезвляющее обстоятельство — борьба против религии в израильском обществе — это борьба именно против иудаизма, а не против религии вообще. Если бы — не дай Бог — в Израиле господствовала какая-нибудь другая религия, наши либералы, скорее всего, относились бы к ней со сдержанной симпатией, привилегированные школы имели бы слегка религиозный уклон, а Сарид и Алони, которые, как ни крути, а не левее покойного Энрико Берлингуэра, охотно посещали бы по воскресеньям церковь. И это несмотря на то, что аппетиты христианской церкви (не говоря уже об исламе) поистине безграничны, и в той же Италии почти все левые радикалы, включая членов Красных бригад — примерные католики\*.

Еще более удивительный характер носят у нас обычные противоречия между правыми и левыми. Уже много лет из всех сил обсасывается тот парадоксальный факт, что Рабочую партию у нас поддерживают люди обеспеченные и интеллигентные, кото-

---

\* Да и в СССР с православным патриархом весьма считаются, и его статус, конечно, устойчивее, а влияние — больше, чем у израильских главных раввинов. У меня осталось яркое воспоминание о том, как одного молодого человека попытались отчислить из института, когда он по религиозным мотивам отказался остаться в комсомоле. Когда местное начальство сгоряча издало приказ о его исключении, его это совершенно не испугало. Он пожаловался в соответствующие православные инстанции — оказалось, есть и такие, — было проведено расследование, показавшее, что он простой православный, в синагогу никогда не ходил и в Израиль не собирается, — и тогда у ворот института появилась черная “Чайка” одного из иерархов Московской патриархии, начальство получило тяжкую выволочку и назавтра же вилось перед нашим верующим ужом, я уж не говорю о том, что он благополучно доучился в институте.

рым по штату положено мыслить консервативно, а вот правые — это, как правило, люди простые, рабочие и небогатые. Особого секрета тут нет, обеспеченная публика поддерживает не столько Рабочую, сколько бесценно правящую партию, реально ответственную за их благосостояние, зато рабочие, положение которых в Израиле не блестяще, предпочитают правую оппозицию, которая для них хороша уже тем, что не напичкана ни интеллектуалами, ни, как кто-то сказал, русской политической традицией, а главное, олицетворяет надежду на перемены. Причудливым образом союзником малообеспеченных слоев оказываются религиозные люди, которых левые непрерывно задевают. Зато за Рабочую партию голосует подавляющее большинство служащих, и совершенно понятно, почему она противится сокращению чиновничьего аппарата. Если верно, что в Израиле 300 тысяч служащих, то они-то и составляют ее главную базу, и не научившись влиять на них, никто не может всерьез претендовать на управление страной. Но настоящие странности — это странности по существу. Израильские левые имеют все типичные черты полноценных левых, правые также ведут себя вполне квалифицированно, но наблюдатель, изучивший только программы и пункты расхождений, вряд ли сумеет опознать в Израиле как тех, так и других. Как ни крути, линия фронта проходит у них не там, где следует. А это уже интересно, — как мы цитировали выше, если понятия определены корректно, проблемы отчасти испаряются, ситуация многообещающая, как бы не выяснилось, что Рац и Тхию разделяет только легкое взаимное непонимание. Но не будем голословными. В чем, собственно, по европейским стандартам им полагается расходиться? В принципах управления страной? (Их лучше не путать с методами управления, тут у нас не то, что две партии — два начальника отдела договориться не могут.) Хорошо, но где же расхождения? И те, и другие вполне прозападны, почитают парламентскую систему правления, слегка колеблются между мажоритарной и пропорциональной системами представительства, не посягают на существующие свободы и не только не расходятся в аксиомах, но в глубине души очень боятся перемен. Даже крайне левые, которые в других местах сочиняют изысканные романы, совершают перевороты или иным образом подрывают устои, в Израиле грудью защищают сложившийся режим, нет оснований подозревать их в неискренности. По экономическим вопросам? Где там! Как раз по ним в Израиле существует национальное согласие,

верный признак потери интереса — и шумные “экономические” скандалы тут мало что меняют. Все партии, находясь у власти, ведут себя в том, что связано с экономикой, совершенно одинаково, и в оппозиции — тоже, и в правительстве национального единства они с легкостью повели совместную линию. По существу, экономикой в Израиле не интересуются, интересуются финансами, биржей, банковскими программами и курсами валют — ну и все. Левых не очень волнует социализм, а правых — частное предпринимательство. и пока предприятия держатся на плаву и вносят свой вклад в бюджет, их считают благополучными. Примерно до Шестидневной войны положение было иным. Тогдашние руководители сами выстроили страну, и за экономику, читай — хозяйство, у них болело сердце. Но затем Израиль приобрел все черты современного государства, — кроме полезных традиций, — экономика перестала быть хозяйством, жизненный уровень поднялся, а долги, в том числе явно лишние, стали быстро расти. Времена меняются, интересы тоже. Сегодняшняя израильская экономика настолько никого не волнует, что забота по ее поддержанию — сам термин новый и любопытный — передована американцам, а события любого калибра занимают нас постольку, поскольку они сказываются на размерах американской помощи. Идеология, видимо, тут ни при чем. Министр обороны заявил недавно, что 70 процентов его бюджета обеспечивают американцы и без них ЦАГАЛ не может существовать. Чем не национальное согласие? Пожалуй, я только в Израиле понял, как это жители развивающихся стран, которые от Америки ничего, кроме хорошего не видели, а отчасти за ее счет живут, начинают вдруг страстно ее ненавидеть. Похоже, они переносят на нее недовольство самими собой, а также унижительной зависимостью от нее и своей неспособностью с ней справиться. Если бы Америка просто кормила Израиль, ее бы тут смертельно ненавидели, но она потворствует нашим амбициям не меньше, чем нашим аппетитам, и поэтому мы полны любви к ней, а любовь, как мы учим в Талмуде, основательно бьет по здравому смыслу. Израильская экономика, к сожалению, не является независимой и не имеет своего курса, положение в ней почти не связано с ее продуктивностью, и все наши политики это понимают. Некоторые мыслящие головы даже обосновывают это теоретически и доказывают, что экономика — а потому и политика — такой маленькой и бедной страны, как Израиль, не должна строиться на независимых началах, и

главное, к чему мы должны стремиться, — это подороже продать нашу лояльность. В теории это выглядит дико, но на практике неплохо, а потому наша автономия выливается обычно в очередной виток “избирательной экономики”, оставляющий оскомину, но всегда делающий свое дело — кто-то получает дешевую машину, кто-то — пару лишних мест в Кнесете, а американцев успокаивают через месяц очередным закручиванием гаек. Не случайно второстепенный, бухгалтерский пост министра финансов у нас гораздо важнее, чем посты министров промышленности, сельского хозяйства и строительства вместе взятых.

Кажется, остается предположить, что истинные расхождения бытуют у нас только во внешнеполитической сфере. Но боюсь, само это предположение покажется читателю диким. Внешней политики в обычном смысле слова в Израиле не существует, на сегодняшний день он до нее не дорос, да это, пожалуй, и неплохо. Израиль борется за существование, и вне собственных границ его заботят лишь кое-какие специальные проблемы плюс, пожалуй, проблемы евреев Диаспоры. Правительственного кризиса на этом не наживешь. В израильских политических мемуарах неоднократно отмечалось, что наше министерство иностранных дел “разъясняет цели и образ действий израильского правительства зарубежным интересантам, а также накапливает информацию”, то есть занимается пропагандой и более или менее дозволенной разведкой — но не внешней политикой. Одновременно Израиль старается затащить к себе как можно больше конгрессов и фестивалей, артистов и государственных деятелей, подогревая тем самым интерес к ближневосточной тематике. Настоящая же международная игра, за исключением того, что нас самих касается, находится вне поля нашего зрения, и очевидный факт, что соответствующие чиновники обо всем прекрасно информированы, ничего не может изменить — для них она имеет разве что теоретическое значение. Недавняя эпопея с поставками оружия Ирану неплохой тому пример. Так за что же мы так ожесточенно боремся, в конце концов, если наши расхождения не относятся ни к реальной экономике, ни к реальной политике? Как ни парадоксально, настоящая, подспудная борьба, — по отношению к которой прочие расхождения поверхностны и вторичны — идет вокруг одного единственного вопроса, и этот вопрос — **еврейский**. Любопытно, что такой выверт еврейского вопроса — смертный приговор классическому сионизму. В свое время Сталин, объясняя, отчего пло-

дятся враги народа в царстве победившего социализма, изобрел превосходный тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к коммунистическому обществу. Мы не можем этого себе позволить, и сталкиваясь с вопросом, почему создание еврейского государства не только не решило проблем еврейской Диаспоры, как обещали теоретики сионизма, но и не исчерпало их даже внутри страны, оказываемся в очень тяжелом положении. И если в отношении Диаспоры можно просто сказать, что обещания еще не сбылись, или, лучше, что их исполнение затянулось, в том, что касается самого Израиля, наше положение безнадежно. Зачем нужен России социализм, если в процессе его строительства приходится убивать столько людей, да еще чем дальше, тем больше, да еще тех, кто к вредительской деятельности приобщился именно вследствие успешности строительства социализма (обострение борьбы!), а так был бы вполне хорошим человеком? Да и останется ли кто-нибудь вообще в живых к его окончательной победе? А теперь спросим — что это за решение еврейской проблемы, если в еврейском сионистском государстве она по-прежнему кровоточит, а изрядные сионистские силы всю сражаются за то, что в Диаспоре мы попросту назвали бы ассимиляцией? Еврейское государство, таким образом, создало легитимную основу для деятельности тех, кто хотел бы покончить с собственно еврейским. До этого не додумался бы ни один еврейский просветитель — создать государство, чтобы ассимилироваться было удобнее и безопаснее. Наши классики рассчитывали, что государство Израиль снова — через 2000 лет — сделает евреев обычным народом. Но если бы евреи были тем, чем их хотели видеть, — народом, как все, — разве продержались бы они на историческом ветру, покончившим со всеми их современниками? Наши классики думали, что создание государства покончит с антисемитизмом, являющимся реакцией человечества на нездоровый, галутный образ жизни еврейского народа — как будто антисемитизм появился на свет вместе с галутом, а евреи были единственным народом, живущим в изгнании. Но победы сионизма никак не нормализовали отношения к евреям, более того, отношение евреев к самим себе стало куда более двусмысленным, а внутри страны — не достигнуты ни государственная нормальность, ни национальная цельность. Израиль так же закоснел в бюрократизме и внутренних дрязгах, как Советская Россия первых многообещающих лет, но в отличие от нее, он не смог определить

позицию практически ни по одному вопросу, равно как и достичь равновесия между идеологией и политикой, словами и делами. Все в нем ненормально — и бюджет, равный национальному продукту, и политическая система, допускающая враждебные демонстрации во время войны и не оснащенная даже сводом законов, и социальное и экономическое устройство, делающее непривлекательным труд рабочего, поощряющее создание фалафельных и душашее серьезную частную инициативу до такой степени, что некоторые партии всерьез выдвигают как главный пункт своей экономической программы требование отменить правила, мешающие частным, прежде всего иностранным инвестициям. После блестящего халуцианского периода в стране явно падает интерес к труду, и ряд профессий, несмотря на безработицу, прочно удерживается арабами. Более того, многочисленные группы израильтян уже ставят под сомнение свое право на государственное существование. В итоге — не без помощи миллионов евреев, которые продолжают свою одиссею в галуте, — Израиль обрекает себя на новые войны и лишения, тем самым замыкая круг чудес и противоречий. Только враги могут хоть как-то объединить страну, только испытания, а если хотите — тяготы — пробуждают в нас патриотизм и интерес к собственным ценностям, — и я очень боюсь, что нам не придется жаловаться на их недостаток.

Израильская жизнь породила ситуацию, когда не существует линии фронта, по разные стороны которой расположились бы политические противники. Она скорее напоминает этакое “колесо идеологий”, в котором никто никогда не первый, не последний и не крайний. Так оно и есть — ни у кого в Израиле нет устойчивой и объемлющей позиции, — каждый считает, что гнет в свою сторону — а на самом деле колесо вращается вокруг оси, даже когда мы об этом и не задумываемся. И этой осью, повторяю, является еврейский вопрос. Именно этот единственный вопрос терзает в Израиле и правых, и левых, и верующих, и атеистов, и националистов, и космополитов. Отсюда и поразительная пестрота наших взглядов. Ну, какие тут, с позволения сказать, левые и правые, когда в стране благополучно сосуществуют несоциалистического толка киббуцы — самые левые на свете (не считая Кампучии) институции, равно как и левосоциалистические группы в Гуш-Эмуним. Дело опять-таки в том, в какой части витка находится данная группа на своем е в р е й с к о м пути

и какая сторона е в р е й с к о й проблемы у нее болит, а уж на политической арене всегда найдется, с кем себя отождествить. Свежайший кризис межобщинных отношений, увенчанный поджогами синагог, к сожалению, грустно иллюстрирует мои выводы. Разве еврей, действительно равнодушный к Торе, пойдет поджигать синагогу? И что, как не нечистая еврейская совесть, заставляет многих израильтян ненавидеть черные кафтаны харедим? Почему столь же черные рясы христианских священников оставляют их равнодушными? Но вместо того, чтобы апеллировать к событиям, еще не успевшим войти в историю, попробуем лучше составить список из десяти вопросов, вызывающих популярные разногласия в стране. Вот, пожалуйста:

1. Кто является евреем?
2. Что делать с Иудеей, Самарией и Газой?
3. Как предотвратить демографическую катастрофу?
4. Свобода религии или свобода от религии?
5. Какая алия нужна Израилю?
6. Возможен ли мир?
7. Все ли в порядке с браком и разводом?
8. Должны ли граждане быть лояльны по отношению к государству?
9. Что делать с межобщинными проблемами?
10. Для чего Израиль существует?

Разумеется, это только один из возможных вариантов, но вряд ли можно выдумать по-настоящему другой. И как ни смотри, эти вопросы упираются, в конечном счете, в одну общую проблему: о еврейском — или нееврейском — характере государства. И если бы можно было хоть заблуждаться на эту тему! Если бы Ш. Алони или М. Вильнер выступили хоть раз за национализацию чего-либо или снижение учетных ставок, повышение пособий многодетным семьям, всеобщую забастовку или против низкопоклонства перед Западом! Нет, они сражаются против службы безопасности и Раввината — и надо отдать им должное, занимаются действительно ключевыми проблемами.

Еще раз: главная проблема Израиля — еврейский характер государства, и основные разногласия и споры сводятся именно к этому. Но ведь, по существу, это очередная трактовка вечного еврейского вопроса. Во все времена передовая часть человечества полагает, что еще немного — и он будет решен бесповоротно, передовая часть еврейства охотно к этому присоединяется, фор-

мулируется строго научная теория — все это при бурном ликова-нии как передовых, так и отсталых антисемитов. Проходит вре-мя, передовые превращаются в реакционных, реакционные — в передовых, но ни еврейство, ни еврейская проблема не исчеза-ют. Нам следовало бы понять, наконец, что еврейская проблема — это не как перестать быть евреем или как, будучи евреем, не от-стать от жизни, но, прежде всего, чего требует от еврея Всевыш-ний, чтобы он был таковым, а затем — каковы его функции в окружающем мире. Неужели можно столько времени безуспешно пытаться вылезти из собственной шкуры и нисколько не разоча-роваться в этой затее?

На самом деле мало кто сомневается в том, что еврейское государство должно иметь еврейский характер. Однако, отсут-ствие сомнений — это еще не знание. Сорок лет назад это з н а л и даже левые еврейские социалисты-сионисты. За их путанными социалистическими взглядами стоял иррациональный тезис, ут-верждавший, что в Эрец-Исраэль должно быть построено еврей-ское государство, и именно этот тезис наполнял смыслом их суще-ствование и деятельность. Пятьдесят лет назад человек мог быть стихийным евреем, но никак не стихийным израильтянином, стать израильтянином он должен был решиться, это было нелег-кое решение, и на него могла толкать только еврейская моти-вация. Нынешнее же поколение избилует израильтянами по рождению, интерес которых к Израилю меньше, чем у первых кибуцников — к традиционным еврейским ценностям. Беда в том, что от них ни разу в жизни не потребовалось ни одного ев-рейского решения — и это легко объясняет, почему иммигранты из свободных стран сейчас сплошь религиозные люди. Но реля-тивизм на национальной почве имеет естественный предел — хотя бы благодаря инстинкту самосохранения. Поэтому за Вильнера голосуют арабы, МАПАМ агонизирует, Шуламит Алони сохраняет массовую базу лишь до тех пор, пока неясно, сколь далеко она готова пойти. Все это уже происходило с нами много раз. Но мы неохотно берем уроки у истории, и все время забываем, что не являемся единственными ее участниками и уж тем более режис-серами. В результате нам приходится идти к цели длинным и из-вилистым путем. Наше колесо вращается вокруг своей оси, и в конце концов мы, видимо, смиримся со всем сразу — с тем, что государство Израиль должно существовать, и с тем, что оно должно быть сугубо еврейским — не избавленным от меньшинств,

как думают некоторые, но еврейским по образу жизни и характеру отношений. И если сейчас мы не готовы принять — что ж, настанет день, когда нас принудят обстоятельства, как принудили они весь мир и нас в том числе создать или смириться с созданием еврейского государства. Поручкой тому полнейшая иррациональность нашего жизненного уклада и самого противостояния всему свету на этой земле.

Но, собственно говоря, не ломимся ли мы в открытую дверь?! Герой, готовый допустить брак своей дочери с неевреем, сознательно бравирует тем, что иудаизм весьма терпим и потому это дело поправимое, на то есть гиюр и развод. Но он же будет глубоко страдать, когда она выйдет за мамзера, и всего лишь оттого, что иудаизм никогда не признает его внуков полноценными евреями, а ведь мамзер — чаще всего плод супружеской измены, и с рациональной точки зрения смириться с ним должно быть легче, чем с нееврейским зятем. В глубине души каждый из нас понимает, что откажись он сегодня определять еврейство в точности согласно законам Торы, он в течение одного поколения похоронит само это понятие, а раз так, нам не совладать с его иррациональной природой. Беда и проблема не в том, что мы не верим тому, чему учит нас Тора, а в том, что мы не можем заставить себя быть последовательными даже с самими собой. В Израиле я десятки раз слышал одно и то же: "Я понимаю, что на самом деле религиозные права, без Торы ничего не получится, но тшуву все равно делать не хочу, потому что ненавижу сграничения". Для такого признания требуется изрядное мужество, но меня все равно каждый раз подмывает спросить — неужели и правила уличного движения мы соблюдаем только оттого, что при случае могут оштрафовать? Что ж, многие и правда ненавидят ограничения и дают волю этой ненависти, а не истинным ее мотивам. Поэтому так часто начинаем мы войну против собственного духовного мира, против подхода, который мы скорее не терпим, чем не разделяем, одновременно полагая его неизбежным и в душе гордясь теми, кто действует по-другому. Большинство левых борется за арабское дело вовсе не из симпатии к нему, что все время вылезает наружу, а потому, что так удобнее всего не соблюдать мицвот — отталкивая, якобы, не Тору, а национализм или милитаризм. Большинство нынешних искренних советских коммунистов таковы не оттого, что им милы теория прибавочной стоимости или общественная собственность на средства

производства, а потому, что внутренняя лояльность делает их привычки более удобными, уместными и оправданными — и тогда в с е становится оправданным, вплоть до ночных арестов 1937 года.

На всех языках есть одно название такой философии — самоедство, и она по самой сути обречена. Не обращать внимания на факты и поддерживать собственных врагов — вполне почтенная линия, но почему-то никто не предлагает отдать арабам то место, в котором сам живет. К счастью, это безумие (недаром в израильской печати появилось выражение “хоровод чертей”) может казаться притягательным лишь до поры до времени — пока есть место для рефлексии. И мы наверняка доиграемся до того, что движению “Шалом ахшав” уже не придется проводить демонстрации, а военному министерству — выгонять поселенцев из районов Шхема — у них появятся другие заботы. А ведь как удобно бороться за радикальные перемены, в осуществление которых сам не веришь! Против армии, разведки и контрразведки, живя под их защитой и зная, что их все равно никто не распустит! Нет ничего успешнее борьбы, само ведение которой — свершение, а цель — максимально испортить кровь. Самое легкое дело на свете — мешать тому, кто на самом деле работает, а потому — уязвим. КПД сил трения равен в точности 100 процентам, и нет ничего легче, чем отправить всю энергию, какая есть, обогреть мировое пространство. Поэтому мне было очень грустно, когда я обнаружил в свое время на страницах “22” следующий вопрос интервьюера — то есть сотрудника редакции: “Скажите, а что вы сделаете, если Агуда или Вильнер придут к власти?” Я не могу не упрекнуть вопрошающего в известной поверхностности — Агудат Исраэль как к ней ни относись, не разрушительница и не сторонний наблюдатель. Но поверхностность — наша общая черта, и часто нас подводит. Неудивительно поэтому, что многие в Израиле не хотят, чтобы абсорбция новых репатриантов послужила пробуждению в этих репатриантах еврейских чувств. Кто знает, куда это заведет их в дальнейшем? Ведь они, большей частью, люди непредвзятые. Говорят, что одна из бед нашего времени — всеобщая отчужденность, ну, так у нас это отчужденность от реальности. Угадajte, впрочем, о какой стране идет речь в этой цитате (из Шекспира) — и благополучное ли в ней описывается время:

Страна неузнаваема. Она  
Уже не мать нам, но могила наша.  
Улыбку встретишь только у блажных,  
К слезам привыкли, их не замечают,  
К мельканью частых ужасов и бурь  
Относятся как к рядовым явлениям.  
Весь день грустят по ком-то, но никто  
Не любопытствует, кого хоронят.

Нам еще предстоит побеждать, но радости в этом мало, ибо по идее у нас не должно быть врагов. Сказано, однако, — и это хорошо завершает наше повествование, — что нееврею труднее соблюдать положенные ему семь общечеловеческих правил, чем еврею все 613 мицвот, несмотря на то, что эти семь правил — простые и естественные вещи для человека с нормальной психикой. И дело не в порочности нееврея и не в превосходстве еврея, а в том, что соблюдать что бы то ни было вообще очень нелегко, но еврея научили исполнению мицвот и объяснили взаимосвязи между ними, так что он исполняет их сознательно, в то время как нееврей к своим законам должен прийти стихийно или просто по природной порядочности или одаренности. Увы — человеку невооруженному очень трудно вести себя естественно и чересчур просто привыкнуть отклоняться от нормы, даже от самой простой — и к нам это относится в равной степени. Наше еврейство научило нас противостоять моральной энтропии, и в трудные моменты именно это нас и спасает. Но о еврействе и его путях нельзя говорить на одной ноге. Будем надеяться, что мне удастся договориться с редакцией о продолжении этих заметок.

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Публикуемая в этом разделе статья представляет собой обработку доклада, прочитанного автором на симпозиуме "Израиль как развивающееся общество" и посвященного уникальным особенностям израильской политики. Она проливает определенный свет на некоторые вопросы, возникающие при созерцании этой политики, особенно в последние годы.*

*Профессор И. Шапиро — израильский социолог, преподаватель Тель-Авивского университета и автор ряда книг и статей по израильским проблемам.*

*Ионатан Шапиро*

### ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА: ОТЦЫ И ДЕТИ

В израильской политике есть один необычный факт. Многие люди, прибывшие в Эрец-Израэль уже после достижения политической зрелости в своих странах, ухитрились занять и сохранить места в политической элите Израиля до самой старости (некоторые — даже до глубокой старости). Между тем молодое поколение местных уроженцев так и не сумело прорваться к кормилу власти, прочно удерживаемому "стариками". В других демократических странах политическая элита обычно характеризуется куда большей возрастной пестротой и намного более частой сменой лидеров. Как объяснить этот феномен?

Социологи рассматривают поколения как своеобразные социальные категории, наподобие класса или этнической группы. В социологическом смысле одно-возрастная биологическая группа — это еще не поколение. Социологи говорят о "поколении", только когда такая группа приобретает определенное мировоззрение, характерное только для нее одной. Это мировоззрение может противоречить взглядам прежнего поколения или дополнять их, но оно обязательно должно быть иным. В противном случае разные поколения социально неотличимы. Как правило, такое особое мировоз-

зрение формируется в годы становления данной биологической группы, то есть в том возрасте, когда она еще не способна к абстрактному мышлению — обычно между семнадцатью и двадцатью пятью годами. Когда поколение уже прошло этот возраст и обрело свое мировоззрение, его уже трудно изменить.

Не всякая группа вырабатывает такое независимое мировоззрение. Обычно новое поколение пассивно принимает взгляды прежнего. Радикально новое мировоззрение появляется лишь в том случае, если в годы формирования на долю молодежи выпадает некое крупное историческое событие, способное разрушить веру в правоту “стариков”. Возникающее сомнение ведет молодежь к состоянию, которое Манхейм назвал “духовной дестабилизацией” — освобождает от прежних взглядов и позволяет прийти к новым. Манхейм подчеркивает, что далеко не все члены нового поколения способны к такому “освобождению”. Обычно процесс выработки новых взглядов происходит в небольших “зародышевых группах”, члены которых имеют сходный жизненный и культурный опыт. Если идеи таких групп выражают жизненный опыт и стремления основной массы их “сокашников” и принимаются ими, то эти группы становятся выразителями нового поколения в целом.

Мне кажется, что подход Манхейма не вполне приложим к политике. Отношения между поколениями в политической сфере иные, чем в других сферах жизни. В науке, например, существует некое молчаливое соглашение относительно методов проверки новых идей. Используя эти методы, новое поколение ученых может у б е д и т ь “стариков” в разумности своего подхода. Но политические споры не могут быть решены на основе согласованных правил. В политике новые идеи могут восторжествовать только в том случае, когда за ними стоит мощная о р г а н и з о в а н н а я поддержка, — политическая организация, партия, группа, которая хотела бы реализовать эту идею. Разумеется, такая организация неизбежно должна вступить в конфликт с политической структурой, контролируемой поколением “стариков”. Зачастую причиной, толкающей молодежь на такую самоорганизацию, является даже не разница мировоззрений, а просто тот факт, что для нового поколения не нашлось места в правящей элите — и уже потом, в ходе борьбы за это место, новое поколение может выработать и собственное мировоззрение. Иными словами, при анализе борьбы поколений в политике необхо-

димо учитывать не только реальные идеологические различия, но и борьбу интересов. Краткий обзор истории израильской политики с точки зрения борьбы поколений оказывается в этом смысле весьма поучительным.

Израильская политическая система сложилась в период между двумя мировыми войнами. Ее лидеры принадлежали, в основном, ко второй алии. Это были люди, родившиеся в России между 1885-м и 1890-м годами и прибывшие в Эрец-Исраэль после русских погромов 1903—1906 годов, неудачной революции 1905 года и последующих репрессий. Именно эти люди заложили основы многих начинаний, которые впоследствии стали уникальными особенностями израильского общества: “кибуц”, “мошав”, Гистадрут и так далее. Эти люди продолжали возглавлять ишув (совокупность еврейских поселений) в течение многих последующих лет. Самый выдающийся среди них, Давид Бен-Гурион, оставался премьер-министром государства Израиль вплоть до 1963 года. Большинство репатриантов, которые прибыли в страну позднее и были моложе, признали авторитет этих “стариков” полностью и абсолютно. Интересно однако проследить за теми, кто попытался выступить на борьбу против поколения “стариков”.

Первая такая группа прибыла в страну из советской России в 1919—1921 годах. Ее возглавляли политические активисты социалистической партии “Цеирей Цион” под руководством Менахема Элькинда. В России эта партия поддержала большевистскую революцию, и те ее члены, которые иммигрировали в Эрец-Исраэль, были полны революционной эйфории и мечтали совершить социалистический переворот на Ближнем Востоке. Поначалу они пытались захватить гегемонию в местном рабочем движении. Они проявили серьезную интеллектуальную и организационную активность и получили поддержку значительного числа поселенцев. Все это вынудило местный “истеблишмент” пойти на компромисс. Некоторые идеи “молодых” были приняты. Кое-кто из них удовлетворился этим, но другие продолжали борьбу. Когда им не удалось захватить гегемонию, остатки группы во главе с Элькиндром вернулись в Россию. Их неудача была обусловлена, главным образом, тем, что эйфория помешала им приспособить свои идеи к новой реальности.

Вторая группа активистов той же партии прибыла в страну между 1923-м и 1926-м годами. Они были сверстниками группы

Элькинда, но их политический опыт включал уже и те годы, когда Советский Союз стал превращаться в диктатуру, а их партия была запрещена и загнана в подполье. Они куда меньше восторгались победой революции, зато научились куда больше ценить роль партии и ее аппарата в захвате власти. Новый жизненный опыт продиктовал им стремление использовать существующую структуру и влиться в нее. Неудивительно, что они присоединились к главной тогдашней партии, "Ахдут ха-Авода", и проявили себя, в основном, в реорганизации ее аппарата и вербовке в нее своих сверстников в ишуве. Эта группа откровенно отказалась от борьбы со "стариками" в обмен за "место под солнцем".

Сходным путем пошли члены движения "ха-Шомер ха-Цаир", прибывшие в страну из Галиции в 1920–1921 годах. Многие из них во время первой мировой войны жили в Вене и испытали там влияние немецкого молодежного движения. Своей главной задачей в Эрец-Исраэль они считали сохранение организационной и идеологической автономии. В результате они тоже отказались от борьбы за официальное лидерство, предпочтя возглавить молодежные группы рабочего движения, созданного "стариками".

Еще одна группа "ха-Шомер ха-Цаир" прибыла в страну в 1929 году, уже испытав на себе влияние начавшейся в 20-е годы дестабилизации европейского общества в целом и еврейства в частности. В основном, они прибыли из Польши, где шла тогда борьба между левой оппозицией и правыми группами, захватившими руководство государством. В этой борьбе группа стояла на левом фланге. Она тоже влилась в молодежное движение в Эрец-Исраэль и в дальнейшем обусловила его сдвиг в сторону марксистской идеологии, достигший предельного выражения в созданной впоследствии партии Мапам.

Пятая группа, тоже прибывшая из Польши (и прибалтийских стран), состояла из членов движения "Бейтар" — представителей интегрального национализма в его сионистском варианте. Польский опыт сдвинул их направо — они подчеркивали милитаристский характер своей организации, придавали основное значение дисциплине, ритуалу и выправке, разделяли общие антисоциалистические взгляды и стояли за частную инициативу. В Эрец-Исраэль они стали зародышем антигистадрутовской "Национальной Трудовой Федерации" и диссидентской военной организации Эцель.

Таким образом, даже те молодые иммигранты, которые ус-

пели сформироваться за рубежом и входили в состав идеологических "зародышевых групп" нового поколения, не сумели бросить серьезный вызов лидерам ишува. К концу 30-х годов "старрики" окончательно упрочили свое ведущее положение. Формирование политической структуры завершилось. Наиболее активные из новоприбывших были "кооптированы" в нее на второстепенные роли. Однако местное поколение "молодых" не получило в ней никакой доли.

В результате это поколение оказалось в исключительно трудном положении. С одной стороны, оно имело дело со "стариками", добившимися огромных успехов в деле построения нового общества в некогда отсталой и пустынной стране. Будучи свидетелями этих реальных успехов, местная молодежь с энтузиазмом приняла сионистские и социалистические лозунги "отцов-основателей". У нее не было оснований подвергать эти лозунги сомнению. Как следствие, она не сумела выработать какое бы то ни было независимое мировоззрение. Она не могла даже подумать посягнуть на авторитет "стариков", как это пытались сделать молодые евреи в Европе, убедившиеся на опыте в несостоятельности прежнего поколения. С другой стороны, местная молодежь все более убеждалась, что "путь вверх" для нее закрыт. Это вынудило ее, в конце концов, к самоорганизации, но то была обреченная попытка, поскольку за ней не стояла какая-либо самостоятельная система взглядов. История ишува подтверждает, что в начале 30-х годов для местной молодежи было характерно глубокое погружение в личные дела и полное равнодушие к призывам "стариков" воодушевляться "пионерскими идеалами" и браться за "решение национальных задач". "Старики" призывали молодежь идти в сельскохозяйственные поселения, но та предпочитала делать карьеру в городах.

А что же произошло с теми, кто все-таки хотел принять активное участие в политике? Их судьбу можно понять на примере одной из местных молодежных организаций, возникших тогда в ишуве, — группы "Социалистическая молодежь". Хотя в ее рядах были люди, прибывшие в страну из-за рубежа, где они отвергли авторитет прежнего поколения, здесь, в Эрец-Исраэль, они не смогли этого сделать. Здесь им противостояло поколение уверенных в себе лидеров, не склонных мириться с "бунтом молодых". Это поколение искусно применило тактику подчинения себе спонтанно возникавших организаций молодежи. Один

из этих лидеров, Берл Каценельсон, заявил на учредительном съезде группы "Социалистическая молодежь": "Каковы бы ни были уже заложенные основы, дело молодого поколения – следовать этим основным принципам. Оно может дополнить их или улучшить, но оно обязано их принять... Контроль за деятельностью и направлением молодежных организаций должен оставаться в руках материнской партии... Фундаментальные принципы нашего политического движения не могут ставиться под сомнение".

Группа "Социалистическая молодежь" кончила тем, что стала молодежным движением п р и партии "Ахдут ха-Авода". Те из ее членов – в основном, прибывшие из-за рубежа, – которые испытали горечь от невозможности играть более активную политическую роль, ушли в сферу административных служб и свободных профессий. Напротив, их местные сверстники, не чуждые политических амбиций, обнаружили редкую меру двуличия, приспособленчества и даже самоуничтожения в отношениях со старым поколением. Они не посмели требовать места в политической системе. Их молодежные группы – "Маханот олим" и "ха-Ноар ха-Овед" – устами одного из своих лидеров, Исраэля Галили, провозгласили: "Наше движение родилось в лоне рабочего движения и выращено им, оно не отвергает старое, оно не стремится к независимости, его цель, скорее, состоит в том, чтобы поощрять элементы гражданственности, необходимые будущему взрослому члену рабочего движения..."

Можно было бы думать, что подобное поведение молодежных групп объяснялось отсутствием в их опыте таких исторических событий, которые могли бы подорвать их веру в "стариков". Но дело обстояло иначе. Всеобщая арабская забастовка 1936 года, начавшиеся затем арабские волнения, продолжавшиеся до 1938 года, поддержка, оказываемая мандатными властями арабскому национализму, – все это привело "стариков" в растерянность и показало несостоятельность многих прежних взглядов. Еще более способствовали этому начавшиеся тогда же преследования евреев в Европе, которые закончились гибелью миллионов в газовых камерах. И нельзя сказать, что эти события не повлияли на молодое поколение. Тот же Исраэль Галили писал, что именно они привели многих его сверстников в подпольные организации ишува. Одним из создателей этих организаций был Ицхак Садэ, впоследствии легендарный командир

Пальмаха. Садэ принадлежал к упомянутой выше группе молодых еврейских социалистов, прибывших в Эрец-Исраэль после Октябрьской революции. Когда его группа распалась, он превратился в "волка-одиночку". В конце 30-х годов он сколотил вокруг себя группу выпускников гимназии "Герцлия" в Тель-Авиве, которая стала зародышем нелегальной военной организации. И тогда перед молодым поколением ишува открылась новая перспектива. Юноши и девушки бросали семьи и школы, чтобы записаться в подпольные военные отряды. Туда уходили все те, кто не нашел иных способов реализации своей активности и амбиций.

Это был странный феномен, в котором парадоксально сочеталось стремление молодежи найти "место под солнцем" с ее же покорностью авторитету "стариков" и их идеям. Военное подполье идеально соответствовало такому сочетанию, поскольку соединяло самостоятельность действий с абсолютным подчинением приказам "отцов-основателей". Оно требовало не столько независимости мышления, сколько дисциплины поведения, и это, как ни странно, привлекало молодежь не меньше, чем само участие в романтически возбуждающей подпольной деятельности. История Хаганы и Пальмаха свидетельствует о поразительно высокой дисциплине и подчинении руководству — куда большим, чем в любых других подпольных вооруженных организациях, как правило, раздираемых конфликтами и расколами. Даже тот единственный раскол, который произошел в Эрец-Исраэль — между Хаганой, с одной стороны, и Эццелем и Лехи, с другой — только подтверждает этот факт. Эццель и Лехи были созданы активистами Бейтара, и 60 процентов командиров этих организаций принадлежали к поколению "стариков", хотя и исповедывавших идеологию, отличавшуюся от взглядов группы "отцов-основателей" ишува. Поэтому и в данном расколе спор шел не о том, подчиняться или не подчиняться авторитету "стариков", а лишь о том, авторитету кого из них подчиняться.

Участие молодых уроженцев страны в вооруженном подполье стало главной частью их жизненного опыта, а это, в свою очередь, еще более усилило их лояльность к отцам-основателям. Дисциплина, привитая молодому поколению в подпольных организациях, сделала авторитет "стариков" непреложным. Их идеи вошли в сознание молодого поколения, как высшая ценность.

Это не означает, что у молодых не было трений с поколением

ветеранов. Трения были, но они имели чисто тактический характер. Молодые командиры Хаганы и Пальмаха, как правило, предлагали более радикальные ("активистский" как тогда говорили) образ действий, "старики" защищали более умеренную линию. Но серьезных расколов не было до тех пор, пока они не произошли в самом поколении "стариков". В 1944 году группа Ицхака Табенкина из движения "ха-Кибуц ха-Меухад" откололась от правящей партии и создала собственную организацию. Лишь тогда часть молодых командиров Хаганы пошла собственным путем, присоединившись к этой группе. Но и тут важно было, что Табенкин принадлежал к поколению ветеранов, отцов-основателей, так что опять-таки речь шла всего лишь о "смене лояльности", но не об отказе от нее. В результате власть "стариков" была обеспечена в новой группе, а ее члены так и не сумели высвободиться из-под их влияния. Многие из них впоследствии, в 1947 году, вошли в новообразованную, марксистскую партию Мапам, которая бросила вызов партии Бен-Гуриона, стоявшей на социал-демократических позициях. Тем не менее когда Бен-Гурион, в разгар Войны за Независимость, приказал распустить отряды Пальмаха, этот приказ был выполнен неукоснительно, хотя всем было ясно, что одной из его причин было заметное влияние Мапам в рядах Пальмаха. Можно думать, что эта поразительная покорность была продиктована не столько чувством национальной ответственности со стороны лидеров Мапам, как часто говорят, сколько непреодолимым чувством лояльности к поколению ветеранов, укорененному в сознании молодых руководителей Пальмаха.

После Войны за Независимость молодое поколение нашло свое место в развивающейся социальной, экономической и военной структуре государства. Некоторые остались в армии, другие получили руководящие посты в администрации или ушли в частный сектор, а самые преуспевшие были кооптированы в зарождавшийся истеблишмент, то есть в высший социальный слой страны. И тут необходимо отметить уникальную особенность Израиля. Как правило, истеблишмент в других странах весьма перекрывается с правящей элитой, то есть с тем слоем, который участвует в принятии важнейших государственных решений. В Израиле это не так: функции элиты и истеблишмента в значительной степени (хотя и не абсолютно) разделены. Объяснение этого факта состоит, вероятно, в том, что политическая элита в Израиле была образована поколением ветеранов, захвативших контроль над

партиями, тогда как истеблишмент включал, в основном, местных уроженцев следующего поколения. Истеблишмент в Израиле постоянно пополнялся за счет новичков, рекрутируемых из числа бывших армейских командиров, отличительной чертой которых было подчинение авторитету стареющих лидеров. Попытки же молодого поколения прорваться в правящую элиту и захватить руководство партиями неизбежно кончались неудачей. И дело не только в том, что "стариками" держали в руках партийный аппарат. Не меньшую роль играло то, что "молодые" не могли освободиться от гипнотического подчинения авторитету "стариков" и самоорганизоваться как независимая группа, не сумели создать собственную фракцию внутри партий, не сумели выработать какую бы то ни было идеологию как базу совместного действия. Их поведение неизменно характеризовалось боязнью бросить вызов авторитету ветеранов. Эта нерешительность — на фоне твердой солидарности ветеранов — парализовала все действия молодых.

Примером этой израильской закономерности может служить история непрерывной борьбы поколений внутри главной партии Израиля — Мапай. Несмотря на приход в нее заметного числа молодых командиров Хаганы, новое поколение Мапай, активно рвавшееся на верха, так и не решилось на открытый бунт, пока сам Бен-Гурион, этот главный из "стариков", не бросил вызов остальному руководству партии и не создал собственную группу "Рафи". Только под руководством престарелого — ему было тогда около восьмидесяти лет! — Бен-Гуриона "молодые" местные уроженцы решились пойти против ветеранов Мапай. История Рафи оказалась историей очередной неудачи: новая партия развалилась уже через несколько лет. Но даже в эти годы, получив собственную партию, молодые лидеры, во главе с Шимоном Пересом и Моше Даяном, не стали политически независимыми. Они так и не смогли полностью порвать со старым поколением и не выработали собственную независимую идеологию.

Поколение местных уроженцев пришло к вершинам власти лишь после того, как большинство ветеранов сошло со сцены просто в силу физической дряхлости или даже естественной смерти, а остальные вынуждены были уйти в отставку в результате Войны Судного дня. Первое правительство "молодых" было сформировано Рабочей партией в 1974 году. Его премьером был бывший генерал Ицхак Рабин, а министром иностранных дел — бы-

вший командир Пальмаха Игал Алон. Оба они принадлежали к тому самому "несостоявшемуся поколению", которое так и не сумело создать собственные организации и выработать собственную идеологию. Эти люди достигли вершины не так, как их предшественники-ветераны: за их плечами не было собственных групп или организаций, они были попросту "кооптированы" ветеранами и каждый из них поднимался самостоятельно, благодаря поддержке своих покровителей в руководстве партии. Иными словами, их возвышение было чисто индивидуальным, оно не означало прихода к власти всего молодого поколения. В результате их правительство не имело внутренней солидарности, столь характерной для группы ветеранов, и не пользовалось тем авторитетом, который был у тех. За неполных три года оно ухитрилось привести к поражению партию, которая до этого правила ишувом и страной сорок лет подряд. Ее сменила другая партия, но и в ней руководство принадлежало, в основном, остаткам старого поколения Бейтара во главе с Менахемом Бегиним. И хотя новое правительство включало также многих представителей местного молодого поколения, но непререкаемый авторитет в ней Бегина свидетельствовал, что и тут отношения между поколениями оставались такими же, как в Рабочей партии.

Провал всех попыток "молодых" прийти к политической власти оказал серьезное влияние на всю израильскую политическую систему. Отсутствие смены лидеров воспрепятствовало проникновению новых идей. Люди, от которых зависели важнейшие решения, продолжали долгие годы держаться замкнутой группой, взаимно усиливая друг в друге ощущение своей непогрешимости и боязнь любых новшеств. Системе все труднее было реагировать на внешние и внутренние события — ведь она почти не обновлялась.

Неизбежен вопрос: как долго еще израильская молодежь будет пополнять ряды "несостоявшегося поколения"? Когда можно рассчитывать на появление новых людей, способных порвать с политической и идеологической зависимостью от ветеранов? Теоретически для этого требуются какие-то глубокие исторические события, которые оказали бы решающее влияние на формирование молодежи. Первое поколение местных уроженцев, самыми видными из которых были Перес, Алон, Даян, Рабин и другие, не смогло, как мы видели, совершить такую революцию. Можно было бы ожидать, что ее совершит следующее поколение, кото-

рое сформировалось в те годы, когда поколение ветеранов уже начало сходить со сцены. На его долю выпали такие события, как свержение правительства Голды Меир в 1974 году, исторический визит Садата в 1977-м и заключение мира с Египтом, ливанская война. Действительно, среди нынешней молодежи можно заметить признаки "духовной дестабилизации": она начинает выражать сомнения в фундаментальных лозунгах поколения ветеранов (которым до сих пор безоговорочно следуют представители "несостоявшегося поколения" в израильском руководстве). Тем не менее остается фактом, что и это поколение еще не выработало собственного мировоззрения и не создало собственных организационных структур.

Разумеется, естественная борьба за "место под солнцем" могла бы способствовать "созреванию" нового поколения в политическом плане. Но в последние годы в Израиле наблюдается любопытное явление: политическая система все шире открывает свои ряды для "молодых", тем самым препятствуя им самоорганизоваться для борьбы со "стариками" и выработки собственного мировоззрения. С уходом ветеранов перед молодежью открылись пути к продвижению в партийной иерархии, возрастной состав правительства, руководства партий, парламента, Гистадрута стал гораздо более пестрым, — но происходит это таким образом, что продвижение молодежи идет через те группы и организации, в которых руководящую роль по-прежнему играет предшествующее поколение. Такая "кооптация" ведет к тому, что по пути "наверх" молодежь незаметно для себя усваивает идеологию, мировоззрение и методы стоящих у власти "стариков". В результате политическая система в целом не претерпевает изменений. Видимо, лишь следующее десятилетие покажет, какое влияние оказали события последних лет на поколение, подрастающее сейчас в государстве Израиль.

*В наших спорах об израильских, западных и советских проблемах мы то и дело пользуемся термином "демократия", говорим о "принципах демократии", "издержках демократии", "угрозе демократии" и так далее. Но что такое — демократия? Политическая система, выражающая волю народа? Политическая система, гарантирующая свободу личности и права человека? Какие явления действительно следует считать "издержками демократии", какие — "угрозами ей", а какие — просто ее естественными особенностями, которых мы не понимаем, не имея четких критериев?*

*Предлагаемая ниже статья И. Шумпетера является попыткой ответить на этот вопрос. Она не обсуждает сравнительных достоинств демократии, ее отношений с человеком и обществом и тому подобное. Она просто предлагает новое — в сравнении с привычным — определение, которое позволяет прояснить многие недоразумения.*

*И. Шумпетер (1883—1950) — один из ведущих экономистов нашего века. В 1919—1920 годах был австрийским министром финансов. В 1932 году эмигрировал в США, где до самой смерти преподавал в Гарвардском университете. Статья представляет собой сокращенный фрагмент его книги "Демократия, социализм и капитализм", опубликованной в 1942 году.*

*Иосеф Шумпетер*

## **ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ**

**а) Общественное Благо и Воля Народа.** Современное представление о демократии сложилось еще в XVIII веке. Согласно этому представлению демократия это такая политическая система, при которой народ сам управляет своими делами. Он избирает представителей, которые осуществляют Волю Народа, направленную на Общественное Благо.

Вдумаемся в это представление. Прежде всего оно предполагает, что существует некое однозначно определенное Общественное Благо, в отношении которого согласны все члены данного общества. Если какой-либо человек отказывается понять, в чем состоит это Благо, его упрямство можно объяснить только невежеством (которое, в конечном счете, поддается исправлению), глупостью или аполитичностью. В целом, однако, существует некая коллективная Воля Народа, направленная на достижение этого Блага. Все политические решения, действующие в пользу такого Блага, являются "хорошими", противоположные — "дурными". Если отвлечься от глупости или злобных побуждений, то единственной причиной разногласий и оппозиции может быть только различие представлений о том,

какой путь скорее всего приводит к той единственной цели, к которой стремятся все без исключения люди. Каждый член общества, сознающий эту цель, конечно способен отличить "добро" от "зла" и поэтому будет стремиться к умножению "добра", эффективно участвуя в процессе достижения Общественного Блага. Тем самым общество в целом будет само заботиться о себе и надзирать за своими интересами.

Понятно, что руководство этим процессом требует специальных знаний, поэтому его придется доверить соответствующим специалистам, избираемым народом в целом. Но это не противоречит основному принципу, поскольку такие специалисты будут действовать во имя осуществления Воли Народа — в точности так же, как врач действует во имя осуществления воли пациента, стремящегося выздороветь. Верно также, что в любом обществе трудно наладить эффективный контакт между всеми членами для решения возникающих вопросов, поэтому проще и удобнее оставить за гражданами право высказываться только по важнейшим из этих вопросов (например, путем референдума), а текущие дела поручить комитетам специалистов, которые будут техническими органами осуществления Воли Народа. Общая координация деятельности этих комитетов поручается главному из них, который обычно имеет название "кабинета министров" или "правительства" во главе с "премьером", "генеральным секретарем" или "президентом".

Стоит принять изложенные выше допущения, и понятие демократической системы приобретает однозначный и конкретный смысл. Остается единственный вопрос — осуществимо ли подобное политическое устройство на практике? Действительно ли то, что мы в жизни называем "демократической системой", соответствует приведенному выше описанию: Воля Народа, направленная на Общественное Благо?

Как только мы задумаемся над фактами, становится очевидным, что никакого Общественного Блага, с определением которого согласны все люди, не существует. И дело не только в том, что некоторые люди вообще могут желать чего-то, весьма отличного от Общественного Блага. Гораздо важнее тот факт, что разные люди и общественные группы вообще по-разному понимают свое благо. И это различие нельзя преодолеть или устранить никакими рациональными аргументами, поскольку оно затрагивает определенные высшие ценности — представления людей о том,

что “правильно” и что “не правильно”. Американца, который заявляет: “Хочу, чтобы моя страна вооружилась до зубов, дабы бороться за продвижение мира по правильному пути” — невозможно примирить с другим американцем, который говорит: “Хочу, чтобы моя страна решала прежде всего свои собственные проблемы, потому что только так она может помочь человечеству пойти по правильному пути”. Их представления о Всеобщем Благе и путях его достижения настолько различны, что любой компромисс требует, чтобы кто-то отказался от своих высших ценностей.

Но допустим, что понятие Общественного Блага все же удалось бы определить в более узкой сфере — например, как максимальное удовлетворение экономических потребностей людей. Даже в этом случае разногласия о методах его достижения остаются настолько принципиальными, что ведут, в конечном счете, к разному пониманию самой цели. Один человек потребует сиюминутного удовлетворения — и тогда для него самой подходящей экономической системой окажется капитализм. Другой может согласиться на отказ от части сиюминутных благ ради будущего счастья — и выберет социализм. “Здоровья” хотят все, тем не менее люди по-прежнему расходятся во взглядах на пользу прививок.

Но если нет Общественного блага, общего для всех, то нет и единой цели, а стало быть — нет и единой Воли Народа, направленной на эту цель. У романтиков XIX века было мистическое понятие “народной души”, которая, якобы, наделена собственной “исторической волей”. Но утилитаристы, создавшие классическое представление о демократии, не были склонны к мистике. У них не было таких понятий. Они считали, что демократическая система отличается именно тем, что выражает **сознательную** Волю Народа. Поскольку вопрос о существовании такой воли оказывается, таким образом, связанным с нашим пониманием сути демократии, на нем следует остановиться подробнее.

**б) Воля народа и воля личности.** Любая коллективная воля есть “равнодействующая” индивидуальных стремлений отдельных людей. Когда говорят о “сознательной” Воле Народа, этим предполагают, что она сложена из осознанных рациональных устремлений отдельных граждан. Иными словами, утверждают, что воля каждого отдельного человека является чем-то, вырастающим на рациональной основе, а не просто запутанным клубком неких

смутных импульсов. В основе такого предположения о четкой и сознательной индивидуальной воле лежит представление, что человек — любой человек — отдает себе отчет, чего он хочет и в пользу чего высказывается. Но это требует ряда допущений. Прежде всего, нужно допустить, что все люди способны к точному наблюдению, критической оценке и правильной интерпретации доступных им фактов. Далее, они должны быть способны, опираясь на эти наблюдения и интерпретацию, прийти к логически верному, быстрому и ясному выводу по каждому определенному вопросу. И наконец весь этот путь наблюдений и рассуждений каждый человек должен пройти абсолютно независимо, не поддаваясь давлению других людей, каких-либо групп и пропаганды (поскольку лишь независимые суждения граждан могут считаться, по классической концепции, достаточно надежными слагающими "истинной" Воли Народа).

Естественно усомниться в том, что все эти условия выполняются в действительности и притом в такой мере, чтобы обеспечить эффективное функционирование демократии в ее классическом понимании (то есть как выражения сознательной Воли Народа). Но можно пойти еще дальше. Можно с достаточным основанием утверждать, что даже если бы все эти условия были выполнены (то есть стремления граждан формировались сознательно и независимо, их действия, направленные на удовлетворение этих стремлений, были рациональны и эффективны, и вдобавок все эти действия независимо и эффективно учитывались бы демократической процедурой принятия решений), — все равно такая демократия отнюдь не выражала бы какую-либо "Волю Народа". Равнодействующая "коллективной воли" возникает в результате такого запутанного взаимодействия стремлений индивидуумов и групп, что в результате она лишена не только разумного единства, но и вообще какого бы то ни было рационального обоснования. И хотя этот "демократический процесс" не является вполне хаотическим (ибо все, что можно в конечном счете объяснить, уже не является абсолютно хаотическим), его результаты, сами по себе, лишены значения — в том смысле, что не обнаруживают ни малейшего стремления к какому-либо конкретному "результатирующему идеалу". Эта коллективная воля не стремится ни к "хорошему", ни к "дурному", поэтому именовать ее "Волей Народа" (что подразумевает некую положительную нравственную оценку, а порой даже высшую, бесспорную

нравственность) совершенно неуместно — разве что заранее постулировать, что поскольку процесс — “демократический”, то результаты его — всегда “хорошие”. Но это означало бы постулировать то, что требуется доказать.

Но дело даже не только в том, что “демократически” найденные “коллективные решения” на деле не выражают никакую “сознательную коллективную волю людей”. Еще важнее тот факт, что во многих случаях такие решения будут весьма отличаться от того, чего на самом деле хотят люди — во всяком случае, их большие группы. С другой стороны, может случиться, что хотя эти решения никому не дадут в точности того, чего он хочет, все вместе получают вполне удовлетворительный компромисс. Но такой компромисс возможен, пожалуй, лишь в тех случаях, когда обсуждаемый вопрос допускает **количественные градации** — например, величина пособия по безработице. А вот в вопросах типа “или-или” (преследовать или не преследовать еретиков, объявлять или не объявлять войну) любое “демократическое решение” будет неприемлемым для той или иной стороны, между тем как решение, навязанное недемократическим путем, “извне”, может оказаться куда более приемлемым.

Прекрасный пример такой невозможности сформулировать демократическую “Волю Народа” дает история Франции времен наполеоновского консулата. Антицерковные настроения в тогдашнем французском обществе, порожденные революцией, далеко не угасли. С другой стороны, в стране уже поднималась гневная ответная реакция католиков, добивавшихся восстановления авторитета папского престола. Наконец, крестьяне, которые хотели бы возрождения деревенских церквей и религиозных церемоний, справедливо опасались, что возвращение клира на село подорвет революционную аграрную реформу. Попытки решить эти противоречия демократическим путем привели бы в лучшем случае к длительному застою, в худшем — к серьезному общественному конфликту. Наполеону, однако, удалось разумно их решить — и именно потому, что все эти группы, не желавшие добровольно сойти со своих позиций, одновременно были готовы — и даже хотели — признать решение, навязанное извне. Наполеон достиг своей цели с помощью нескольких искусных политических шагов, завершившихся заключением конкордата с римским папой (1801 год) и подписанием так называемых “органических декретов” (1802 год). Эти меры позволили примирить непримиримое: они

установили определенный уровень религиозной свободы, одновременно решительным образом подняв авторитет папского престола, и ввели новые принципы организации французской церкви, одновременно решив деликатную проблему ее отношений с крестьянством. Если можно вообще говорить о "желании народа", то, несомненно, решения Наполеона — один из лучших в истории примеров осуществления таких желаний. Кое-кого этот пример может, пожалуй, убедить в преимуществах диктатуры над демократией, но мы сейчас обсуждаем, напомним, не столько преимущества или недостатки различных политических систем, сколько их принципиальные особенности и отличия. Тем не менее нельзя не заметить, что если за критерий оценки системы принять ее способность находить решения, удовлетворяющие — в дальней перспективе — большинство людей, то "прямая власть народа" (как толкуют демократию в классическом понимании) зачастую явно не удовлетворяет такому критерию.

**в) Природа человека с точки зрения политики.** Вернемся теперь к вопросу, возможна ли та независимая и сознательная "воля личности", существование которой мы на время допустили. Этот вопрос относится к ведению того раздела социальной психологии, который называется "Природа человека с точки зрения политики".

Еще до появления Рибо и Фрейда, уже во второй половине XIX века, представление о человеческой личности как о чем-то однородном и целостном, а также концепция "воли личности", как главного стимула ее деятельности, стали рушиться под напором фактов, особенно в сфере общественных наук. Внимание ученых все больше и больше стали привлекать внерациональные и даже иррациональные элементы человеческого поведения. Из многих аргументов, выдвинутых против концепции рациональности нашего поведения, я упомяну здесь только два.

Один из них был впервые выдвинут Гюставом Ле-Бонем, создателем так называемой "психологии толпы". Ле-Бон первым описал особенности поведения, возникающие, когда люди собираются в толпу: исчезновение, в силу экзальтации, моральных тормозов и привитого цивилизованностью образа мысли и чувств; внезапное высвобождение первичных инстинктов, инфантильность мысли и проявление агрессивных наклонностей. Тем самым он нанес тяжкий удар по тому представлению о человеческой природе, на котором основывается классическая теория демократии.

Разумеется, выводы Ле-Бона можно критиковать, и это неоднократно делалось. Но с другой стороны, нельзя забывать, что явления, обнаруживающие себя в психологии толпы, отнюдь не ограничиваются бесчинствами, которые учиняет реальная толпа на улицах каких-нибудь английских, американских или иных городов. Каждый парламент, всякое коллективное мероприятие, любое сборище генералов демонстрируют, хотя и в более мягкой форме, некоторые особенности поведения "толпы", начиная с утраты чувства ответственности и кончая снижением уровня интеллекта и большей податливостью иррациональным факторам. Более того, эти особенности проявляются не только в случае реального физического скопления людей. Читателей газет, слушателей радио, зрителей телевидения, даже если они не собраны в одном месте, необыкновенно легко превратить в толпу в смысле психологическом и довести до того безумного состояния, когда они на все попытки рационального убеждения будут отвечать все большим озверением.

Второй аргумент, который я хочу привести, связан не столько с кроеожадностью, сколько с бессмысленностью человеческого поведения. Экономисты давно уже заметили, что даже в самых обыденных сферах повседневной жизни потребители ведут себя не вполне согласно с учебниками экономики. С одной стороны, их желания вовсе не определены сколько-нибудь четко, а их действия, направленные на удовлетворение этих желаний, не отличаются особой рациональностью и естественностью. С другой стороны, они так податливы на рекламу и другие приемы убеждения, что производители легко навязывают им свой диктат. Особенно поучительна в этом отношении техника эффективной рекламы. По сути, она всегда в той или иной степени адресуется к разуму. Но сам факт повторения действует куда сильнее, чем любые рациональные аргументы, особенно если к этому добавляется непрерывная атака на подсознание, в котором стараются закрепить устойчивую связь между рекламируемым продуктом и чувством удовольствия, зачастую сексуальным.

Не нужно однако спешить с выводами. В нормальных условиях человек, когда ему приходится принимать часто повторяющиеся решения, несомненно руководствуется своим предыдущим положительным и отрицательным опытом. Его поведение управляется вполне простыми, ясными и очевидными мотивами и интересами. В длительной перспективе его возобновляющаяся потребность, —

например, в обуви, — конечно, может подтолкнуть фабриканта к попытке навязать ему свой тип туфель с помощью рекламы, но в каждом отдельном случае покупки человек руководствуется истинной и конкретной потребностью, очищенной от иррациональных элементов благодаря длительному опыту. Неправда, будто домохозяйку так уж легко обмануть рекламой, когда речь идет о продуктах и прочих каждодневных потребностях. Каждый продавец на собственной шкуре не раз убеждался, что значительная часть покупателей ищет и добивается именно того, что им нужно.

То же самое можно сказать о производителе. Он может быть неудачником, обманщиком, недостаточно компетентным, наконец, но на то существует вполне эффективный механизм рынка, чтобы в конце концов вынудить его изменить стиль или сойти со сцены. Так что и тут нельзя сбрасывать со счета стимулы, способствующие рациональности поведения и поиску рациональных решений.

Так же обстоит дело с подавляющей частью вопросов, относящихся к повседневной коллективной жизни в тех локальных масштабах, которые человек может охватить разумом, не теряя контакта с действительностью. Это вопросы, затрагивающие близкий круг его родных и знакомых, приятелей и врагов, его непосредственного окружения, все, что ему близко и хорошо известно, независимо от того, что пишут газеты, вопросы, на которые он может иметь влияние и за которые чувствует свою ответственность. Конечно, и тут поведение людей не всегда рационально, для этого требуется выполнение целого ряда условий — достаточно вспомнить, что целые поколения страдали из-за иррационального подхода к вопросам личной гигиены и все же никак не могли связать свои страдания с их подлинными причинами. И тем не менее, даже с этими оговорками, следует признать, что в целом для каждого человека можно указать более или менее очерченный, разный у каждого, круг вопросов, где относительно четко проявляется наличие у личности собственной воли. Эти проявления могут показаться поразительно неразумными, ограниченными и эгоистичными, но мы ни в коем случае не должны преуменьшать их значения — равно, впрочем, как и преувеличивать его.

Однако эта, относительно рациональная, воля личности постепенно исчезает по мере того, как мы отдаляемся от круга каждодневных проблем. Это не происходит внезапно. В сфере чисто об-

щественных вопросов тоже существуют такие, которые человек способен разумно оценить, — это прежде всего местные проблемы. Но уже тут заметно снижение способности наблюдения, анализа и действия, спад чувства ответственности. Тем не менее здесь, на уровне местных проблем, при наличии личных контактов между людьми, заинтересованность человека делами квартала или округа и его "локальный патриотизм" еще могут заметно способствовать "практическому функционированию демократии".

Существуют также и общенациональные вопросы, которые непосредственно затрагивают каждого человека и по которым он проявляет свою волю вполне рационально и четко. Таковы, например, все вопросы, связанные с его личным доходом, то есть размеры государственных налогов, пенсий, пособий и т. п. С незапамятных времен граждане всегда реагировали на эти вопросы и быстро, и разумно. Но такая "разумность" несколько не подкрепляет классическую теорию демократии. Реакция граждан, как правило, учитывает лишь кратковременные их интересы и потому ею оказывается легко манипулировать. Подлинная же рациональность поведения проверяется лишь на длительном отрезке времени.

Однако чем дальше мы отдаляемся от личных и локальных проблем, тем меньше, в целом, проявления воли личности совпадают с представлениями классической теории демократии. И больше всего поражает здесь полная потеря человеком чувства реальности. Как правило, важные общеполитические вопросы занимают в сознании человека не больше места, чем привычные развлечения или светские разговоры. Создается впечатление, что люди не вполне отдают себе отчет в реальности этих проблем. Размышлениям над политическими проблемами они посвящают меньше сознательных усилий, чем игре в карты. В таких условиях не остается ни малейшего места для проявления личной воли, то есть сознательного, целенаправленного и ответственного действия.

В паре с этим идет поразительное невежество обывателей в вопросах внешней и внутренней политики, особенно изумляющее у образованных людей. Какой-нибудь адвокат, занимаясь защитой клиента, вкладывает в это дело свои знания, профессиональный опыт и сознательное, рациональное стремление улучшить свою репутацию. Но размышляя над политическими проблемами, он не дает себе труда мыслить критически, пользоваться своими профессиональными навыками, рассуждать рационально и после-

довательно. Тут не помогает ни наличие обширной и всем доступной информации, ни постоянные усилия лекторов и преподавателей научить ею пользоваться. Невозможно научить людей, когда они не хотят учиться.

Вот почему типичный обыватель тотчас опускается на самый низший интеллектуальный уровень, едва начинает говорить о политике. Он рассуждает о ней так инфантильно, как никогда не позволил бы себе в личных вопросах. Он начинает мыслить, опираясь только на поверхностные ассоциации и подсознательные эмоции. Он снова становится заурядным и тривиальным. И это приводит к двум результатам.

Во-первых, даже без влияния политических групп и партий, такой человек, уже сам по себе, склонен подчиняться в своих политических симпатиях и антипатиях иррациональным и даже иррациональным предрассудкам и импульсам. С одной стороны, поскольку это его "не очень касается", он легче теряет из виду моральные принципы и выпускает на волю темные инстинкты, которые подавляет в обычной жизни. С другой, даже если он проявляет вполне искреннее, "здоровое" возмущение, это тоже мешает ему видеть вещи в правильной пропорции и во всех аспектах. Поэтому его "воля", существование которой предполагает классическая теория демократии, может проявиться самым безответственным, неразумным и неожиданным образом и навлечь на общество немалые беды.

Во-вторых, снижение роли рационального, критического мышления открывает дорогу влиянию на человека всех тех групп, которые хотели бы вытащить себе каштаны из огня его руками. Здесь не имеет значения, что это за группы и как они действуют. Важнее тот факт, что коль скоро человеческая природа с точки зрения политики такова, какова она есть, ею можно манипулировать. В политических процессах мы куда чаще встречаемся со сфабрикованной, а не подлинной "волей народа". Иными словами, эта воля зачастую является **продуктом**, а не движущей силой политического процесса.

Способы такого манипулирования во многом сходны с методами эффективной рекламы — с той разницей, что в области политики они куда эффективней. Фотографии самых красивых женщин не помогут производителю плохих сигарет после того, как покупатель их попробует раз-другой. Но в политике как правило нельзя "попробовать", и даже попробовав, труднее извлечь уроки, пото-

му что результаты намного сложнее истолковать однозначно. Вдобавок политическая "реклама" очень часто пользуется приемами искажения или умолчания фактов, преподнося одни гипотезы как аксиомы и одновременно замалчивая другие возможности и интерпретации.

Разумеется, все это имеет свои границы. Джефферсон был в общем прав, когда сказал, что "люди в целом мудрее, чем каждый отдельный человек", — так же, как прав был Линкольн, заявивший: "Нельзя бесконечно долго обманывать всех". Но оба эти утверждения справедливы на длительном отрезке времени. Между тем история дает бесчисленное множество примеров, когда политические решения, необратимо меняющие ситуацию, приходится принимать "здесь и сейчас". И коль скоро основное большинство людей "здесь и сейчас" можно подвести к решениям, которых они, может, сами и не хотели, то уже не имеет значения, к каким выводам пришел бы их здравый смысл, будь у них достаточно времени. Поэтому пресловутая "Воля Народа" сводится, в конечном счете, к воле тех, кто ее формирует. И даже самому страстному защитнику демократии (в ее классическом толковании) не уйти от признания, что люди, как правило, не имеют — даже в демократической системе — решающего голоса в делах, определяющих их судьбу. Эти решения выбирают за них другие.

г) **Причины устойчивости классического понимания.** Итак, представление о демократии как политической системе, выражающей Волю Народа, направленную на его же Благо, не соответствует реальности. Но заглядывая в себя, многие вынуждены будут признать, что они до сих пор именно так понимают демократию в ее отличии от авторитарных и тоталитарных систем. В чем же причина такой устойчивости столь далеких от реальности представлений?

Прежде всего напомним, что создатели концепции "демократии как выражения Воли Народа" были интеллектуалами-атеистами. Они считали, что устанавливают новый общественный порядок, противостоящий религиозно освященному порядку прошлого. Но разработанная ими политическая система в действительности была **принципиально сходной** с христианским протестантизмом, из которого выросли их идеи. Их Глас Народа подменил собой Глас Божий, а их Равенство обнаруживало все черты сходства с христианским эгалитаризмом (Искупитель ведь тоже умер за всех за нас). Со временем идея так понимаемой демократии стала,

по существу, суррогатом веры для секулярных интеллектуалов последующих поколений. Эта демократия, с ее Общественным Благом и Волей Народа, стала для них средоточием высших ценностей и благороднейших стремлений — к справедливости и счастью людей. Конечно, эта квазирелигиозность классической концепции не объясняет всех вопросов, но она позволяет понять, почему сторонники этой концепции были так нечувствительны к фактам.

Далее, представление о демократии как выражении Воли Народа опиралось также в ряде случаев на исторический опыт поколений. Так, американцы воспринимали свою борьбу с английской колониальной властью как борьбу между “народом” и “властелином”, и уже в ходе Войны за Независимость начали описывать ее в терминах “Воли Народа” и других категорий классической концепции демократии. Позже эти взгляды нашли отражение в Декларации Независимости, а поскольку дальнейшее развитие американской демократии удовлетворяло большинство американцев, то утвердилось представление, что так происходит, потому что демократия-де учитывает “волю большинства”. В XIX веке многие оппозиционные группы и движения, выступавшие под лозунгами “Воли народа” против прогнивших монархических режимов (например, в Италии и других странах), одержали впечатляющие победы, что еще более способствовало утверждению классического толкования демократии в умах людей. Разумеется, пропасть, отделяющая теорию от практики, постепенно стала очевидной, но “заря свободы”, тем не менее, угасла не сразу.

Наконец, следует заметить, что в некоторых случаях демократия действительно выражает Волю Народа, направленную именно на Общественное благо. Классическим примером тому (если не считать малых или первобытных коллективов) является Швейцария. Ее проблемы столь просты и стабильны, что большинство граждан вполне способно рационально разобраться в них и прийти к разумному решению. Это, однако, вовсе не означает, будто классическая концепция правильно описывает эффективный механизм принятия решений (индивидуальная воля — коллективная воля — общественное благо). Просто здесь вообще нет потребности в серьезных решениях. Сходная ситуация может возникнуть и в более сложных обществах, — но только в тех случаях, когда ситуация никого лично особенно не затрагивает. Кое-кого такие случаи укрепляют во мнении, будто демократия — это действительно такая система, в которой действует Воля Народа, направлен-

ная на Общественное Благо. Но как мы видели, действительность является более "грубой" и "грязной", чем представляют себе благородные идеалисты.

## II. Инструментальная концепция демократии

а) **Борьба за места в политическом руководстве.** Повторим еще раз: классическое определение утверждает, что демократией является такая система, где **народ** высказывает разумное и четкое суждение по каждому вопросу и превращает это суждение в действие, избирая для того специальных **представителей**. Согласно такому определению сами эти представители имеют второстепенное значение — они всего лишь дают **избирателям** техническую возможность осуществить их, **избирателей**, решения тех или иных политических вопросов.

Наше определение, извлеченное из наблюдений за реальными демократиями, переворачивает это соотношение между **мнением избирателей** и **ролью представителей**. Мы предлагаем альтернативное толкование демократии, которое определяет ее не через цель, а через метод достижения этой цели, то есть **инструментально**.

Согласно этому альтернативному определению **демократией является попросту всякая политическая система, в которой отдельные граждане получают право решать общественные вопросы путем борьбы за голоса избирателей.**

В чем преимущества этого определения? Во-первых, оно дает четкий критерий, чтобы отличать демократические режимы от недемократических. Не нужно больше проверять, реализуется ли пресловутая Воля Народа в данной системе и направлена ли она действительно на достижение Общественного Блага. Новое определение может быть проверено чисто процедурно. К примеру, парламентарная монархия в стиле британской удовлетворяет такому определению, поскольку здесь монарх назначает на правительственные посты именно тех людей, которых избирает парламент. Напротив, "конституционная" монархия, в духе Российской империи XX века, не является демократичной, потому что в ней избиратели и члены парламента, располагая в остальном теми же правами, что и в парламентарной монархии, лишены возможности избрать правительство, поскольку оно назначается

и сменяется монархом по собственному усмотрению. Такая система может удовлетворять народ, монарх может пользоваться всеобщей популярностью, но коль скоро у него нет конкурентов, коль скоро нет механизма соперничества за голоса избирателей, эта система не подходит под наше определение демократии.

Далее, это определение учитывает ту реальную роль, которую играет в любой демократии политическое руководство. Классическое толкование предполагает за избирателями совершенно нереальный уровень личной и коллективной инициативы, между тем как на практике все человеческие коллективы действуют почти исключительно "через" руководство, принимая чье-то руководство. Классическая теория с ее Волей Народа не оставляет для руководства никакого места; наше определение показывает, как конкретно эта "Воля" складывается и проявляется, фальсифицируется и подменяется — все это учитывается понятиями "борьба за голоса избирателей" и "роль руководства".

Далее, новое определение способно учесть и те "коллективные стремления", которые существуют в действительности — например, желания отдельных групп населения (безработных, пенсионеров и т. п.). Такие желания далеко не всегда получают непосредственное выражение, даже будучи достаточно четкими и сильными; порой они могут десятилетиями оставаться в тени, пока их не подхватит какой-нибудь политический лидер или партия, придавая им организованную форму, включая в свою программу борьбы за голоса избирателей, используя их и манипулируя ими. Но даже и здесь классическая "Воля Народа" находит выражение не сама по себе, а опять-таки **через** политическое руководство.

Разумеется, наше определение не является абсолютно четким. Как установить, например, пределы, в которых борьба за власть еще остается "демократической"? Формы этой борьбы не менее многообразны, чем виды экономической конкуренции. Такая конкуренция никогда не бывает абсолютно "чистой". Чтобы упростить дело, примем, что "демократическое соперничество" означает такую борьбу за "места наверху", когда соперники могут **свободно** добиваться голосов избирателей в **свободных** выборах. Тогда окажется, что многие другие способы завоевания власти — например, военный переворот — не являются демократичными. И напротив, нам придется считать все еще "демократичными" **все** виды **свободного** соперничества, даже если в них использу-

ются обман, нечестные приемы и манипуляция общественным мнением. Мы вынуждены включить эти виды соперничества в число демократических, если не хотим остаться с чисто абстрактным идеалом, которому не будет соответствовать ни одна реальная демократия в мире. Между такой абстрактной “чистой демократией” и “явно авторитарным” режимом простирается непрерывный спектр вариантов, вдоль которого демократия **постепенно** переходит в авторитаризм. Ничего не поделаешь: если мы хотим не философствовать впустую, а разобраться в реальности, все эти промежуточные варианты тоже придется зачислить в демократии.

Новое понимание демократии разъясняет ее связь со свободой личности. “Свобода личности”, то есть сфера автономных личных решений человека, всегда имеет какие-то границы: ни одно общество в истории никогда не допускало **полную** свободу личности и ни одно ее не сводило к нулю. Стало быть, вопрос о том, свободен ли человек в данной системе, сводится в действительности к другому: **насколько** он свободен? И тут очевидно, что демократия (точнее — то, что мы определяем как демократию) обеспечивает больше индивидуальной свободы, чем в аналогичных условиях любой другой политической строй. Ибо если **каждый** (по крайней мере, теоретически каждый) может добиваться роли в политическом руководстве, соревнуясь за голоса избирателей, то это означает, что в большинстве случаев уровень свободы обсуждения, доступный **всем** (и в частности, уровень свободы печати), выше. Конечно, связь между демократией и свободой личности не абсолютна, и демократичность системы “соперничества за голоса” отнюдь не исключает возможности манипулирования и даже ограничения свободы личности. Но с точки зрения любого интеллектуала наличие такой связи весьма существенно. И пока это все, что можно по данному вопросу сказать.

Выдвигая факт свободных выборов на роль главного критерия демократии, мы включаем сюда также возможность отзыва избранных представителей, — в противном случае могло бы создаться впечатление, будто в “настоящей демократии” избиратели не только дают своим избранникам право руководить, но и контролируют их деятельность. На самом деле в реальной демократии весь этот “контроль”, как правило, ограничен лишь возможностью **отказать** “премьеру” или его партии в переизбрании.

Это и учитывается в нашем определении, так как соперничество кандидатов за голоса предполагает не только возможность победы, но и возможность поражения.

Наконец, наше определение бросает свет на один давний спор. Многих сторонников классического определения всегда смущал тот факт, что в реальных выборах решает воля большинства. Между тем воля большинства – это еще не Воля Народа: за бортом остаются группы и меньшинства, мнения которых заглушаются большинством. Чтобы предотвратить такую “несправедливость”, сторонники демократии как выражения “Воли Народа” издавна предлагали различные реформы избирательной системы в духе “пропорционального представительства”. Их противники указывали на громоздкость и нежизнеспособность этих реформ. Наше определение показывает, что демократия вовсе не требует пропорционального представительства. Тот факт, что общество демократично, означает всего лишь, что бразды правления должны быть вручены тем, кто получил поддержку большего числа избирателей, чем все остальные соперники. Стало быть, воля большинства вполне согласуется с демократичностью в нашем понимании, даже если мы осуждаем диктат большинства по другим соображениям.

**б) Применение принципа.** Главная роль избирателей (“народа”) в демократии – создание (выборы) руководства, то есть системы управления обществом. Это может означать, например, выборы всех чиновников снизу доверху. Но так обычно происходит только на местном уровне. В общегосударственном же масштабе все сводится на практике к вопросу, кто будет “премьером”, то есть к выборам главы правительства.

Лишь в немногих демократических странах (например, в Соединенных Штатах, во Франции) избиратели выбирают главу государства напрямую. В остальных известных случаях они не влияют непосредственно на состав правительства: на выборах избирается промежуточный орган, парламент, а тот уже формирует кабинет министров. Как правило, это происходит путем выбора парламентом премьера, который затем сам выбирает себе коллег по кабинету. Может показаться, что все эти опосредования лишь удаляют формирование правительства от воли избирателей. В действительности дело обстоит не так. Простой пример показывает это. В 1879 году, когда Дизраэли был в зените власти, его консервативная партия по праву рассчитывала на победу

в очередных выборах. Однако победителем на выборах совершенно неожиданно стал либерал Гладстон. Этот замечательный оратор незадолго до того так всколыхнул всю Англию серией пламенных речей, что избиратели толпами голосовали за его партию. Заметим, что за несколько лет до этого Гладстон поссорился со своей партией и даже вышел из нее. Теперь было абсолютно очевидно, что своей победой на выборах либералы обязаны личной популярности Гладстона. В результате они вынуждены были вернуть ему пост председателя партии и вручить пост премьер-министра.

Пример этот исключителен только своим драматизмом — суть его типична. Он проливает свет на природу политической роли премьер-министра в демократической системе. Эта роль складывается из трех факторов. Прежде всего, премьер это, как правило, лидер своей партии. Становясь премьером, он становится лидером этой партии в парламенте и некоторым образом руководителем парламента в целом, то есть получает определенное влияние и на другие партии. Наконец, выступая как лидер своей партии и парламента в отношении к обществу, он получает возможность формировать общественное мнение и становится в определенном смысле лидером нации. Масштабы его влияния в парламенте и обществе, разумеется, зависят от его личных качеств и потому завоевание такого влияния — его личный успех. Такой успех дает ему в руки “кнут и пряник” для воздействия на противников и сторонников его власти.

Таким образом, утверждение, будто в парламентарной демократической системе функция создания правительства перепоручается парламенту, нуждается в оговорке. Парламент осуществляет эту свою функцию не вполне свободно. Желания членов парламента не являются единственными факторами, определяющими состав правительства. Члены парламента связаны не только лояльностью в отношении своей партии. Ими дирижирует вдобавок тот самый человек, которого они “выбирают” — сначала он подталкивает их к “выбору”, а потом, будучи избранным, продолжает их направлять. В таких условиях бунт партийной парламентской фракции против своего премьер-министра происходит довольно редко. Но даже такой бунт и — что более типично — частые конфликты с премьером выявляют всего лишь “нормальные” отношения между руководителем и руководимыми. Отношения эти составляют прямое следствие демократической системы, ее неотъемлемую особенность.

Немало благоглупостей и наивной критики приходится слышать также в отношении правительства при демократии. Для того, чтобы понять его истинное место в демократической системе, нужно отдавать себе отчет, что с точки зрения правящей партии правительство — не более, чем отражение ее иерархической структуры. С точки зрения премьера это группа лиц с собственными интересами, то есть парламент в миниатюре. Эти люди “выбирают” своего премьера из собственных интересов, с которыми премьер вынужден считаться. Их интересы не имеют ничего общего с “любовью” к премьеру, но они диктуют им поддерживать его и его программу так, чтобы у него не было оснований пересмотреть их назначения. Эта особая позиция членов кабинета отличает их как от избирателей, так и от членов парламента. Их деятельность в рамках вверенных им министерств направлена главным образом на сохранение контроля правительственной группы, как целого, над бюрократической машиной. И эта главная функция министров имеет лишь весьма отдаленную связь с заботой о том, чтобы каждое из министерств наилучшим образом воплощало в жизнь “волю общества”. В лучшем случае общество ставит в известность о результатах, о которых оно порой даже не задумывалось и о которых не выражало никакого предварительного мнения.

Говоря о функции парламента, мы ничего не сказали о его законодательной деятельности. Может показаться, что она-то как раз и выражает волю народа. В действительности, однако, в демократической системе, где главное — это соперничество за власть (то есть за голоса избирателей), каждая политическая партия должна видеть свою главную задачу в удержании этой власти. Именно это, в конечном счете, является подлинным содержанием всех занятий парламентариев, тогда как любой конкретный предмет парламентских дебатов — это всего лишь **форма** такой борьбы за сохранение позиций в кругах избирателей. Иными словами, когда парламента голосует за или против любого очередного законопроекта, он фактически голосует за или против сохранения у власти данного правительства; любое такое голосование есть вотум доверия или недоверия премьеру. Никакого цинизма в этих утверждениях нет. Парламентские фракции — те же армии на поле боя. Их снаряды — это слова, предмет их спора — все равно что город или высота, за которую сражаются в бою. Но точно так же, как красота этого города не имеет отношения к цели боя, так сущность зако-

нопроекта имеет лишь малое отношение к истинной цели парламентских дебатов. Эта цель — победить противника. Но не следует забывать, что “победить” в парламентской демократической системе означает — победить в войне за голоса избирателей. Поэтому когда правительство вносит очередной законопроект, оно фактически предлагает оппозиции очередной бой за эти голоса; когда такой законопроект вносит оппозиция, это означает, что она вызывает правительство на бой; если инициаторами законопроекта являются не сами министры, а члены правящей партии, это, как правило, признак бунта в партии и именно так относится к этой инициативе кабинет. Короче говоря, политические битвы в демократическом парламенте являются концентрированным выражением все того же общего принципа демократии — соперничества за голоса избирателей, перенесенного в специфическую обстановку парламента и правительства.

Исключения в данном случае, как всегда, только помогают понять принципиальный “реализм”, или, если угодно, “прагматизм” системы. Во-первых, следует заметить, что ни одна власть не является абсолютной, а демократическая тем более, поскольку она основана на принципе открытого соперничества. Поэтому всегда могут найтись люди, которые захотят воспользоваться своим демократическим правом свергнуть премьера. Если таким человеком оказывается министр, чувствующий, что может себе это позволить, он, как правило, избирает тактику, которая является промежуточной между полной лояльностью к премьеру и полным отрицанием его руководящей роли. Он балансирует между угрозами и уступками, порой с таким искусством, что это вызывает восхищение. Реакция премьера на такое поведение обычно состоит в компромиссе между разумными уступками, призывами к дисциплине и приемлемыми наказаниями. Оба противника стараются переиграть друг друга, и в результате такой игры (условия которой зависят от относительной силы различных групп в кабинете и парламенте) возникает довольно большая степень свободы действий, даже в высших слоях руководства демократической системы.

Во-вторых, может сложиться ситуация, когда этот политический механизм не сумеет справиться с определенными вопросами — то ли потому, что недооценит их значения, то ли потому, что это значение представляется ему сомнительным. Тогда могут появиться одиночки или сторонние группы, которые по собственной иници-

циативе поднимут этот вопрос на щит, добиваясь голосов избирателей независимо от существующих партий. Это тоже нормальное явление в демократической системе. (Порой таким борцом за принцип выступает бескорыстно заинтересованный в нем человек, который даже не пытается сделать на этом политическую карьеру.) Оба эти исключения — не более, чем частные отклонения от типовой схемы функционирования демократической системы.

Все сказанное можно суммировать следующим образом. Наблюдая человеческие коллективы, можно без труда обнаружить различные цели, которых они стремятся достичь. Можно сказать, что эти цели придают определенный "общественный смысл" (или оправдание) соответствующим действиям, направленным на их достижение. Но отсюда не следует, будто именно такое "общественное значение" того или иного действия само по себе побуждает людей предпринимать это действие. К примеру, причиной экономической активности людей является, конечно, тот факт, что им нужно есть, пить, одеваться и так далее. Производство средств удовлетворения этих жизненных потребностей составляет "общественный смысл" (или цель) такой активности. Но все мы, пожалуй, согласимся, что люди занимаются производством вовсе не потому, что осознают общественную необходимость производить для других еду, питье, одежду. Они занимаются им просто потому, что хотят заработать на жизнь или получить прибыль. И реалистичнее начать анализ экономики именно с этого предположения о целях человеческой деятельности, — хотя попутным продуктом такого стремления к заработку или прибыли действительно оказывается достижение вышеупомянутой "общественной цели" — удовлетворение жизненных потребностей общества в целом.

Точно так же общественный смысл парламентской активности (равно как и активности правительства, администрации и т. д.) несомненно состоит в законодательной и административной деятельности, которая отражает и удовлетворяет определенные потребности общества (избирателей). Но для того, чтобы понять, **каким образом** демократически организованная политическая деятельность служит этой цели, начать нужно с **соперничества за власть и должности** и осознать, что общественная цель в ходе такого соперничества достигается как бы "походя", побочно — в том же смысле, в каком производство товаров есть побочное следствие стремления к заработку или прибыли.

Под конец следует сказать еще кое-что об избирателях. Мы уже убедились, что демократия вовсе не означает, будто формирование правительства диктуется только "свободными" желаниями членов парламента. Аналогичное ограничение реальная демократия накладывает и на избирателей. Совершаемый ими выбор (который на словах, идеологии ради, превозносится как выражение "Воли Народа") на самом деле далеко не всегда является продуктом их собственной инициативы. Зачастую он, этот выбор, **формируется** в ходе процесса соперничества кандидатов за их голоса, который является основным элементом демократической системы. Чаще всего **не избиратели**, а сами эти кандидаты-соперники определяют форму (а порой и содержание) тех целей (лозунгов, решений), за которые потом призывают голосовать. И даже кандидатуры соперников выбираются не избирателями, а как правило местным или высшим партийным руководством. В распоряжении избирателя в реальной демократической системе остается только право **выбрать** из двух или более представленных ему соперников. Существование политических партий, таким образом, ограничивает возможности выбора. Это, однако, нисколько не нарушает принципиального характера демократии как свободного соперничества за голоса избирателей — партии попросту оказываются еще одним элементом механизма такого соперничества. Если мы согласны, что оно составляет сущность реальной демократии, тогда и партию мы должны определить не как "группу единомышленников, стремящихся к умножению общественного блага" (как определяли ее утилитаристы), а скорее как группу людей, решивших участвовать в процессе демократического соперничества **совместно**. Конечно, все партии наряжаются в те или иные идеологические костюмы, провозглашают программы и лозунги, отражающие желания избирателей (или порой формирующие такие желания), и эти лозунги и обещания играют такую же роль в исходе их соперничества за голоса избирателей, какую играют в доходе универмага разложенные на его полках товары. Но с точки зрения **механики** демократического процесса партии — это не идеологические образования; иначе как объяснить, что порой разные партии на деле осуществляют, а порой и провозглашают сходные программы, а внутри одной и той же партии сплошь и рядом имеются группы с разной идеологией? Таким образом, мы приходим к пониманию, что наличие политических партий и искусных партийных манипуляторов и демагогов не есть "иска-

жение демократии"; напротив, это естественная реакция политиков на тот факт, что массы избирателей неспособны действовать иначе, чем на основании "стадного" (коллективного) инстинкта. Иными словами, это просто попытка упорядочить процесс политического соперничества такими же способами, каким пользуются, скажем, профсоюзы в своей борьбе с предпринимателями. Поэтому все эти "психотехнические приемы" манипулирования мнением избирателей и членов партии, методы партийной рекламы, звонкие лозунги и маршевые мелодии (так же как знакомые всем нам типы политических лидеров и политических манипуляторов) — не аксессуары, а сущность демократической политики, как бы ни возмущали они порой наше нравственное и стилистическое чувство.

## ZESZYTY LITERACKIE

Nr 16 (JESIEŃ 1986)

W numerze 16 (JESIEŃ 1986): PROZA I POEZJA: ADAM ZAGAJEWSKI, Mały naród pisze list do Boga; ARTUR MIĘDZYRZECKI, Wiersze; ZBIGNIEW KRUSZYŃSKI, Fragment powierzchni; RAFAŁ KLES, Wiersze; EMANUEL ŁASTIK, Wiersze. EUROPA ŚRODKA: MIRCEA ELIADE, Dziennik (fragmenty); MIRCEA ELIADE, Być Rumunem. LISTY Z PARYŻA: WOJCIECH KARPIŃSKI, Broń ostatnia. SYLWETKI: KONSTANTY A. JELEŃSKI, Leonor Fini; LEONOR FINI, Pseudonimy. PREZENTACJE: JORGE LUIS BORGES, Wiersze; PHILIP LARKIN, Wiersze. INTERPRETACJE: JAN KOTT, Ran albo Lear Ostateczny; ANNA MICIŃSKA, Jedyne wyjście Istnienia Poszczególnego. Samobójstwo S.I. Witkiewicza. W OCZACH ZACHODU: JONATHAN SCHELL, O lepsze dzisiaj; O KSIĄŻKACH: STANISŁAW BARAŃCZAK, „Niezliczone odmiany koloru szarego”; JULIAN KORNHAUSER, Lekcja tożsamości. NOTATKI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH.

Numer 16 Zeszytów Literackich ukazał się w październiku 1986. Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTERAIRES, 44, rue Tiquetonne 75002 PARIS).

Cena pojedynczego egzemplarza wraz z przesyłką 50 FF (6,50 \$USA); pocztą lotniczą 56 FF (7,5 \$USA).  
Prenumerata roczna — 170 FF (22 \$USA); pocztą lotniczą 210 FF (27,50 \$USA).

## ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

*Исполнилось 50 лет со смерти Гилберта К. Честертон — выдающегося английского писателя, автора "Наполеона из пригорода", "Человека, который был четвергом", "Рассказов о патере Брауне" и др. Основные мотивы творчества Честертон слагаются в мировоззрение, прямо соотносящееся со спорами наших дней. Предлагаемая статья рассказывает о Честертоне — критике современной цивилизации.*

О. Кустарев

### ЧЕСТЕРТОН

Гилберт Кит Честертон родился в 1874-м и умер в 1936 году. Его имя обычно упоминается в одном ряду с Бернардом Шоу и Гербертом Уэллсом. Хотя он, пожалуй, менее известен русскоязычной публике. На русский язык его переводили меньше; издавали не такими массовыми тиражами; и он никогда не был в центре внимания русских учебников английской литературы.

Тем не менее русскоязычный читатель имел возможность читать Честертон. В 20-х годах на русский язык были переведены несколько его романов и, кажется, почти все сборники детективных рассказов о патере Брауне. В 60-х и 70-х годах лучшие из этих рассказов дважды переиздавались — маленьким и большим однотомниками. Тогда же рассказы Честертон регулярно публиковал журнал "Наука и жизнь". В 1984 году в Москве вышел сборник литературно-критических эссе Честертон "Писатель в газете" с послесловием Сергея Аверинцева.

Литературное наследие Честертон огромно и бесконечно разнообразно: рассказы и романы, баллады и лимерики, литературная критика, политическая полемика, эссе по философии культуры и, наконец, теология.

Честертон избрал словесность

формой существования. Он был человеком "слова" (man of letters). Он был "человеком мнения", идеологом — проповедником, спорщиком (или лучше сказать "аргументалистом"), прокурором и адвокатом. Он не избегал и не прятался. Он всю жизнь боролся.

Прежде всего он был воинствующим христианином-католиком, добровольно и очень осознанно. Впервые он изложил свое кредо в 1908 году в книге "Ортодоксия". В 1922 году он перешел в католицизм — формально и демонстративно.

Затем — Честертон ненавидел капитализм и индустриализм, то есть, как он сам говорил, "цивилизацию". В этом смысле он был прямым наследником Диккенса и Уильяма Коббета — знаменитого в начале XIX века защитника интересов "сельской Англии", одного из духовных предтеч современных "зеленых". Биографии Коббета и Диккенса принадлежат к числу наиболее удачных книг Честертона (кстати, "Диккенс" также имеется на русском языке).

Сложив эти две черты мировоззрения Честертон, мы довольно естественно получим консерватизм. Консерватизм старого образца, аристократического оттенка; как сказали бы в советской школе — "реакционно-романтического" толка.

Далее, Честертон — популист. Он высоко ценит простого человека, земледельца, ремесленника.

Наконец, Честертон — индивидуалист и считает, что всякий человек должен быть индивидуалистом. Реализовать индивидуализм можно, по Честертону, производя индивидуальный продукт, настаивая на собственной точке зрения и идентифицируя себя географически, то есть по принадлежности к какому-то участку земли. В то же время Честертон ни в коем случае не националист. Он — **р е г и о н а л и с т**. Участок земли для него прежде всего — моя "деревня", мой "квартал", мои "100 кв. км".

Наконец, Честертон — волюнтарист. Он полагает, что биография человека — это принимаемые им решения. Если человек не сделает свою биографию, никто не сделает ее за него.

Последнее убеждение Честертон настойчиво проводил на практике. Он добровольно пошел работать поденщиком-журналистом и писал в периодическую печать каждый день.

Это был выбор на всю жизнь. Другой выбор Честертон сделал, поставив свое перо на службу церкви.

Помимо этого Честертон много раз делал политический выбор, перейдя от либералов к консерваторам, примкнув к "дистрибу-

ционистам”, выступив против покорения бурских республик и т. д.

Честертон был антисемитом; так говорят. Можно доказывать, что антисемитизм Честертона был не как у всех и поэтому им можно пренебречь; можно доказывать, что это обвинение основано на недоразумении; можно думать, что его антисемитизм был сродни сионизму; но даже в этом случае следует признать, что повод для недоразумения был.

Честертон был горячим поклонником Муссолини. И тут то же самое. Хотя отношение Честертона к фашизму было двусмысленным, но оно не было случайным. Возможно, это тоже недоразумение, но опять — повод для недоразумения был.

Этот портрет может произвести хаотическое впечатление, но таков уж был Честертон. Мы составили этот портрет, используя самые простые материалы справочно-биографического характера. Теперь взглянем, что писал сам Честертон.

\* \* \*

*“Предполагается, что если вещь неизменно повторяет себя, то она мертва, как заводная игрушка. Люди думают, что если бы у Вселенной было личное начало, то они — люди — менялись бы. Но взглянем на человека: когда с ним приключается действительно кое-что новенькое? Когда он умирает, когда его силы кончаются, а желания увядают. В жизни человека кое-что меняется, когда он совершает ошибку или утомлен.*

*Солнце встает каждое утро. Я — не каждое. Это вносит перемены в мою жизнь, но эти перемены — не результат моей активности, а, наоборот, результат пассивности. Солнце подымается каждый день, потому что оно никогда не устает подыматься. Его косный режим, скорее, не от безжизненности, а от полноты жизни. То же мы замечаем у детей, когда им особенно полюбилась какая-нибудь игра или шутка. Ребенок безостановочно болтает ногами от избытка, не от недостатка жизни. У детей жизни хоть отбавляй, их дух неудержимо свободен — поэтому они так любят без конца повторять одно и то же и предпочитают, чтобы ничего не менялось. Ребенок, чуть что, говорит: “Сделай это еще”. И взрослый делает и делает еще, пока не устанет до полусмерти. А он устанет, потому что у взрослых не хватает сил возбуждаться от монотонности.*

*Но у Бога, вероятно, хватает сил, чтобы возбуждаться от монотонности. Возможно, он говорит каждое утро: “Сделай это еще” солнцу и каждый вечер — луне.*

*Быть может, наши маленькие трагедии трогают богов, глядящих на этот театр со своей звездной галереи. Быть может, богам так нравятся представления, что после каждой человеческой драмы участники вновь и вновь вызываются на сцену”.*

Так в поэтической форме Честертон выразил свой фундаментальный консерватизм. Он написал миф, в котором воспел волшебную красоту неизменности, повторяемости. В этом мифе вечный покой приравнивается к вечному движению, а поступательное движение вперед ассоциируется с нарушением порядка, болезнью, смертью.

Честертон не любил прогресс. Лик прогресса в духовной жизни представлялся ему безостановочным отрицанием всех прежних концепций и ежедневным появлением новых. Двигатель прогресса, по Честертону, — сомнение, которое в сущности ведет в никуда. В материальной жизни прогресс для него определялся бессмысленным разрастанием торговли и промышленности, которые не просто увеличивают свой объем, но делают это за счет превращения сферы нетоварных отношений в сферу отношений товарных.

Посмотрим сперва, что Честертон говорил о материальной стороне:

*“Когда вы имеете дело с людьми, самонадеянно требующими сомневаться, то лучше всего будет посоветовать им продолжать заниматься этим делом, продолжать сомневаться еще, еще, потом еще немножечко, каждый день подвергать сомнению что-нибудь еще, что-нибудь уж совсем неожиданное. Пока, наконец, в одну прекрасную минуту их не осенит и не стукнет: да ведь теперь, пожалуй, пора усомниться и в самих себе”.*

Дурная бесконечность сомнения ведет к полной потере ориентации. Чтобы мир людей продолжал существовать, он должен стоять на прочных и неизменных основаниях. Такие основания ему может дать только религия. Собственно — Честертон все время подводит нас к этой мысли — основное и неизменное в нашем сознании и оформляется как религия. Если человек еще в здравом уме, то он после нескольких веков заблуждений вернется к утраченному, было, раю, миру с Богом и с самим собой. Честертон даже настаивает, что так оно и происходит.

*“Когда Гексли, Герберт Спенсер и викторианские агностики провозглашали во всю глотку гипотезу Дарвина в качестве окончательной истины, простым людям могло показаться, что религии уже не выжить. Но, как бы в насмешку, она пережила всех своих хулителей. Больше того, она стала идеальным примером, если не единственным примером того, что они все именовали Выживанием Наиболее Приспособленных.*

*Недавнее возрождение религии есть действительно пример выживания наиболее приспособленного, как это понимал сам Дарвин, а не как это понимают популярные и вульгарные варианты Дарвинизма. Им кажется, что борьба за существование — это прямая схватка между двумя претенден-*

тами на выживание. Они думают, что выживает сильнейший, то есть тот, кому удастся сокрушить в единоборстве остальных. Но главная идея Дарвина вовсе не в том, что птица с самым длинным клювом может и должна заклевать остальных. Нет, согласно Дарвину, дело в том, что она может достать червей с такой глубины, с какой другие птицы их не достанут.

Религия вернулась, потому что все другие формы скептицизма, пытавшиеся занять ее место и делать ее дело, теперь настолько запутались в собственных ногах и руках, что не годятся вообще ни на что. Все модные формы научного скептицизма или детерминизма охватывает полный паралич, лишь только они оказываются лицом к лицу с проблемой человека в реальной жизни”.

Научный подход к Человеку, подсказывает нам Честертон, бесплодная авантюра. Суждения человека о человеке в конечном счете произвольны. Это раз. Два — совсем уже никуда не годятся суждения о суждениях. То есть они годятся, люди даже морально обязаны иметь суждения обо всем, в том числе и о собственных суждениях (к этому мы еще вернемся), но незачем делать вид, что в таком “царстве природы”, как “культура” (или, следуя определениям некоторых учебников антропологии, “суперорганика”), последнее слово принадлежит науке. Более того, ей, возможно, не принадлежит и первое:

*“Совершенно очевидно, что когда что-то проходит через горнило человеческого сознания, оно погибло навсегда для целей науки. Оно превращается в нечто таинственное и не имеющее очертаний, и это непоправимо. Смертное в этом горниле обретает бессмертие. Даже то, что мы называем нашими материальными потребностями, на самом деле не материальные потребности, потому что они — потребности человеческие. Наука может изучить свиную отбивную и сообщить нам, сколько в ней фосфора и сколько белка. Но наука не может изучить неодолимую тягу человека к свиной отбивной и определить, в какой пропорции в ней сочетаются голод, нервное возбуждение и маниакальная жажда красоты. Человек тянется к свиной отбивной в сущности столь же мистическим и духовным образом, как он тянется к небесам. Поэтому все потуги наук, будь то история, фольклористика или социология, судить о продуктах человеческого сознания с самого начала не только безнадежны, но и безумны. Страсть человека к деньгам есть не просто страсть к деньгам, так же как любовь святого к Богу есть не просто любовь к Богу.*

Сама фундаментальная неопределенность первичного объекта нашей науки выбивает ее из седла, если она наука. Люди могут построить науку с помощью полудюжины инструментов или с помощью очень простых инструментов, но невозможно построить науку с помощью недоброкачественных инструментов. Человек может сконструировать всю математику с помощью пригоршни камушков, но не с помощью куска глины, который все время разваливается на части и каждый раз по-разному. Человек может измерить небо и землю, пользуясь тростью, но только не тростью, которая все время то растет, то укорачивается”.

Как бы ни были велики успехи науки, внушает нам Честертон, она не может дать нам картину мира, потому что этот мир не равен самому себе и находится, так сказать, в заколдованном кругу неуловимых превращений. Мы нуждаемся в надежном масштабе, наш разум — в догмах. Честертон занимается апологетикой догматизма и считает, что догма уже есть — дело за нами. Он уверяет нас, что единственно правильная догматика это — католическая догматика. Незачем искать другой, поскольку правильная уже сформулирована. Она — рациональна.

*“Есть одна тенденция, которая крепнет день ото дня. О ней не пишут в газетах, и люди с газетным интеллектом даже не могут себе ее вообразить. Я имею в виду возвращение томистской философии. Эта философия — парад здравого смысла по сравнению с парадоксами Канта, Гегеля или прагматистов. В строгом смысле слова религия Рима — единственная рационалистическая религия. Все другие религии замешаны не столько на рационализме, сколько на релятивизме: они утверждают, что сам разум — нечто относительное и ненадежное”.*

И далее:

*“Математики теперь говорят, что дважды два может быть пять при определенном расположении звезд; метафизика и мораль утверждают, что существует добро по ту сторону добра и зла; на месте материалистов, утверждавших, что не существует никакой души, теперь появились мистики, утверждающие, что нет никакого тела. После всего этого старая добрая схоластика покажется просто-напросто выздоровлением душевнобольного и возвращением в здравый ум”.*

Для тех, кто воспитывался в Советском Союзе, эти филиппики в адрес “субъективного идеализма” покажутся знакомыми. Конечно, тот же пафос слышится в философствованиях Ленина. Разница в том, что Ленин, напуганный размышлением “реальности” в субъективистских и релятивистских толкованиях мира, кидается в сторону жесткого материализма. Честертон — в сторону объективного идеализма в самом откровенном его варианте.

Так обстоит дело с реакцией Честертона на прогресс в сфере сознания. Лик же прогресса в материальной жизни для Честертона определяется развитием торговли и промышленности.

*“В любой нормальной цивилизации торговцы существуют, и без них не обойтись. Но во всех нормальных цивилизациях они — исключение. Они никогда не были правилом и уж тем более никогда не правили. Положение, которое торговцы завоевали в современном мире — причина всех его несчастий. Универсальным обычаем человека было соединять производство и потребление в одном процессе: люди производили и потребляли то, что произвели; сами и там же, где производили. Иногда цикл замы-*

*кался в большом феодальном хозяйстве, иногда — в маленьком крестьянском. Иной раз в общее дело вносили свой вклад сервы, едва отличимые от рабов; иной раз свободные люди сотрудничали друг с другом так, что поверхностный наблюдатель не смог бы отличить этот порядок от коммунизма. Но ни один из этих методов, как бы он ни был ущербен и ограничен по своим возможностям, не захлестывал человека такой петлей, какой он захлестнут в наше время. Теперь большинство людей думают вовсе не о том, чтобы произвести пищу для собственного стола, а о том, как бы произвести ее и потом продать по грабительской цене тому, кому нечего есть”.*

Абсурдность общества, построенного на рыночных отношениях, — вот на что прозрачно намекает Честертон. Он обращает наше внимание на то, что “рыночное общество” — явление уникальное и исторически очень краткое. Человеческое же общество существует тысячелетия, и в основе его лежат два принципа: принцип собственности и принцип равенства.

Осуществить эти принципы последовательно и до конца никогда не удавалось, но их п ы т а л и с ь осуществлять. И даже было время, когда общество было близко к осуществлению этого е с т е с т в е н н о г о идеала. Честертон имеет в виду Средние века в Западной Европе — “старую добрую Англию”. Капитализм же интересен тем, что отказывается даже от попыток осуществить эти принципы, провозглашая противоположные. Общество он заменяет экономикой, человеческие отношения — рыночными.

На первый взгляд он отстаивает идеал собственности. Но это иллюзия, считает Честертон:

*“Я думаю, что на слово “собственность” в наше время бросает черную тень коррупция, порождаемая крупным капиталом. Послушав, что говорят вокруг, можно подумать, что Ротшильды и Рокфеллеры горой стоят за собственность. Но мне кажется очевидным, что они-то и есть враги собственности, потому что не знают пределов своей собственности. Они хотят не своего, а чужого... Человек, действительно знающий толк в поэзии обладания, будет только счастливым воздвигнуть стену там, где его сад прикасается с садом Смита, и изгородь там, где его ферма соседствует с фермой Брауна”.*

Смысл этого фрагмента диагностируется просто. Перед нами идеология мелкособственнического анархизма. Два момента здесь интересны. Во-первых, скептицизм Честертонна по поводу идеала собственности в условиях “лессе-фер”. Честертон очень остро чувствует, как легко извращается принцип “свободы собственности” в условиях “свободной торговли”.

Вторая деталь более интересна и характерна для Честертонна.

Он говорит о "поэзии обладания" и о тех, кто знает в ней толк. Люди, подсказывает Честертон, не могут жить без своего личного, осязаемого и бесспорно им принадлежащего мира. Собственность — это не правовая или организационно-техническая проблема; это вопрос самого человеческого существования: без собственного мира существование человека не реализуется; если у человека нет собственности, нет и самого человека.

Честертон потратил много сил и красноречия на поэтическую мифологию собственности. На его глазах процесс монополизации и (или) тотальной национализации уничтожал собственность как основу личного человеческого существования. Вместе с собственностью шла ко дну и демократия, как ее понимал Честертон.

*"У демократии только один подлинный враг. Это — цивилизация. Все утилитарные чудеса, созданные наукой, антидемократичны. Не потому, что они могут быть злокозненно использованы во вред демократии, и не потому, что их последствия трудно учесть, а по самой своей сути и назначению. Те, кто в прошлом веке ломали станки, были правы. Это правда, что они боялись лишиться из-за машин работы, но не это было их главным мотивом. Они — и это гораздо важнее — понимали, что машины лишат человека контроля, который ему принадлежит, покамест он мастер в этом мире.*

*Логика науки ведет к индивидуализму и изоляции. Толпа может устроить страшный шум, собравшись вокруг дворца. Но толпа не может сделать это по телефону. Появляется специалист, и в ту же секунду демократия превращается в полутруп.*

*И вот — особый недуг нашего времени: Империализм, или Цезаризм. Он означает закат товарищества и равенства. На их место приходят специализация и господство".*

На мой взгляд, Честертон тут берет очень глубоко. Возникновение отношений господства между людьми он связывает с переменной в отношении человека к миру вещей и инструментов. Легко заметить, что Честертон в этом фрагменте характеризует процесс отчуждения, в самом общем виде и почти со всех его сторон. Концентрация собственности, рутинизация труда, специализация труда, пассивный труд, а т о м и з а ц и я общества. Д е м а т е р и а л и з а ц и я жизни, то есть превращение ее в имитацию абстрактных схем. У Честертонана все это неизбежно сопровождается укореением отношений господства. И правда, логика процесса крайне проста. С возникновением специальностей тут же возникает вопрос: чья с п е ц и а л ь н о с т ь в ы ш е .

Честертону было поразительно свойственно ощущение един-

ства мира, которое мы обычно находим у людей религиозных. Такие люди в полном смысле слова в и д я т мир. Им бывает о т к р о в е н и е мира. Честертон уверял, что в детстве он в и д е л Бога. Он не лгал. Во всяком случае, он в и д е л мир. Приведенный выше фрагмент — характерный пример его стиля. Честертон переходит от одной темы к другой с удивительной легкостью: для него эти темы не удалены друг от друга. Для него они вообще — о д н а т е м а .

\* \* \*

Мы проиллюстрировали ту интерпретацию, которую давал Честертон современной действительности. Интонация и лексика выдают чувство писателя. Эти чувства имеют знак. Точка зрения Честертонна всегда крайне заинтересованная и внушающая.

Что ж, в известном смысле все точки зрения таковы. Это легче или труднее заметить в зависимости от темперамента автора, его желания подчеркнуть своеобразие своей точки зрения или его желания скрыть ее своеобразие.

Честертон был очень темпераментным мыслителем. Но нельзя сказать, что он "проговаривался", как теперь часто случается со многими мыслителями, стремящимися согласно духу времени, скрыть свои предпочтения и не умеющими этого сделать. Честертон не принадлежал к разряду людей, простодушно выбалтывающих, что у него на душе.

Он говорил именно то, что у него на душе, подсказывал и указывал людям, что им следует думать. Он не кокетничал, давая другим понять, что их точка зрения тоже имеет "свои основания". Нет, уверял он, правда одна, кому-то она известна лучше, чем другим, и тот, кто ее знает, должен докладывать ее другим, неумолимо настаивая на том, что он говорит правду.

*"Нынче вошло в обычай приговаривать: "Может быть я не прав, но такова моя точка зрения". Это совершенно бессмысленный обычай. Если я считаю какую-то точку зрения неправильной, то с какой стати я буду ее себе присваивать? А нынешняя привычка говорить: "У каждого своя философия; вот вам моя философия — та, что мне подходит" — просто напросто слабоумие. Космическая философия не костюм, сшитый на этот и только на этот космос. Философия не может быть личной, точно так же как у человека не может быть личного солнца или личной луны".*

Нечего делать реверансы в пользу чужих точек зрения. Если человек считает возможным отстаивать какой-то взгляд, он не

должен даже делать вид, что допускает его ошибочность. Отстаивать можно только "правду".

Именно так и поступает сам Честертон, отстаивая "правду" католической версии христианства.

Честертон считал, что человеку пристала свобода воли. Человек способен выбрать, и он должен этой способностью воспользоваться. Это не значит, что он каждую минуту, закрыв глаза, должен бросать жребий: идти ему направо или налево? Сфера, где принцип свободы воли может быть применен, весьма ограничена, но беспредельно важна: это сфера общих принципов и генерального плана.

Он постоянно твердит одно: в начале было Слово, миру предшествует план, поведение человека определяется принятыми решениями. И хотя принятие каждого решения всякий раз происходит в реальных обстоятельствах и ими, как будто, обусловлено, но в конечном случае и, так сказать "в общем случае" человек все равно оказывается в ситуации, когда его выбор ничем внешним не обусловлен, как бы он не р а ц и о н а л и з и р о в а л его. Поведение обусловлено обстоятельствами и культурой, но культуру можно выбрать. Честертон в ы б р а л католицизм.

Для середины XX века философия истории Честертона выглядит поразительно смело. Все, что произошло после европейского Средневековья, Честертон попросту объявляет заблуждением, совершенным отчасти по слабости душевной, отчасти по суетности ума.

*"Великие идеалы прошлого не осуществились не потому, что они были изжиты (то есть устарели), но потому, что они не были проведены в жизнь достаточно настойчиво. Человечество не прошло через Средние века. Скорее оно отступило назад, потерпев поражение и испугавшись. Говорят, что христианский идеал пытались осуществить, но он не выдержал испытания. Это неправда. Его сочли слишком трудным и даже не попробовали осуществить".*

Согласно бытовой мудрости нашего века, утопия — это то, что неосуществимо. Честертон возлагает вину за неосуществленность утопий не на "объективные обстоятельства" и не на "утопичность" утопий, а на слабость и недостаток воли — решимости у их осуществителей. Он не приемлет детерминистские о т г о в о р к и .

Христианский идеал общества, настаивает Честертон, не осуществился потому, что люди оказались к нему не готовы. Ну что

ж, намекает Честертон, не удалось один раз — надо попытаться еще. Честертон не случайно подчеркивал, что

*“христианство — это религия покаяния; оно противостоит современному фатализму и пессимистическому футуризму главным образом тем, что говорит: человек может пойти назад”.*

Трудно представить себе большой обскурантизм по отношению к нашей цивилизации, более последовательное отрицание ее мировоззрения и практики.

Спор Честертон с цивилизацией оказывается тотальным. Эта цивилизация, говорит Честертон, сама объявила своим ядром науку. Значит бессмысленно доказывать ее несостоятельность “научно”. С ней надо бороться там, где ей приходится прибегать к оружию, уравнивавшему ее с оппонентом. Это — сфера конечных (или, если угодно, самых первых) утверждений, то есть утверждений, не имеющих эмпирически рациональных оснований, иначе говоря — мифов.

Честертон с большим энтузиазмом куёт миф о естественной разумности религии. Он нигде не выступает как чистый теолог. Он выступает как теолог-параболист. Он без конца рассказывает нам басни на теологические темы. У него есть “положительный герой”: это католический патер Браун. Все рассказы о патере Брауне — теологические параболы. Таковы же и его романы и даже почти все эссе.

У этих парабол есть и отрицательный герой. Это — человек суежный, суеверный, эгоцентричный, склонный больше смотреться в зеркало, чем в окружающий мир и в свою собственную душу; человек, вместе с тем, лишенный индивидуальности, раб моды и чужого мнения, идолопоклонник, короче, — дитя цивилизации, как его издавна изображают нравоописатели-моралисты от Лабрюйера до Зиновьева\*.

\* \* \*

Честертон был проповедник. Его проповедь была обращена, как и всякая проповедь, в массы. Как же нам, массам, надлежит на нее реагировать?

Проще всего от нее отмахнуться. Допустим, что мы разделя-

---

\* Интересно, что сатиры Честертон направлены не против атеистов, с которыми он вообще не считается, а против протестантов — реальных врагов католицизма в его время; их он и считал “модниками”.

ем критический пафос Честертон и тоже считаем нашу цивилизацию негодной. В конце концов, не он один критиковал эту цивилизацию; даже больше, сейчас практически дело дошло уже до того, что эта цивилизация вступила в фазу осознания собственной негодности (хотя во времена Честертон это было еще не так: завоевывать колонии, например, считалось нормальным). Так что в критической части согласиться с ним не трудно; не надо для этого особо себя преодолевать.

Но вот проектные идеи Честертон уже не вызывают у многих из нас энтузиазма, и мы не можем к ним присоединиться так же легко, в состоянии такого же полного психологического комфорта. Они вызывают у нас известный скептицизм.

Честертон призывает нас вернуться обратно, в интеллектуальное Средневековье, которое он считает Золотым веком. Наша философия истории этой идеи не приемлет.

Во-первых, мы привыкли считать, что в одну и ту же воду нельзя войти дважды.

Во-вторых, религиозная натурфилософия и антропология сочетались с совершенно определенной общественной структурой, которой теперь уже нет. Это было общество, в котором доминировала семья, род, община; отношения между людьми были личноритуальными, а власть была сакрализована.

Человек считался и в самом деле был целостным существом; он был лишен индивидуальных свойств и не мог выбирать себе свойства или культивировать их в себе по собственному выбору.

Наконец, это был мир, ограниченный горизонтом деревни и бесконечно открытым только вверх, в небо.

Этот мир исчез, и, как говорил Макс Вебер, мы живем в расколдованном мире. Можно ли его заколдовать обратно?

Честертон настаивал, что дело не в "можно", а в "следует" или "не следует", в том, чтобы "захотеть" или "не захотеть".

Когда мы ставим этот вопрос в категориях возможности и решаем, что заколдовать мир обратно невозможно, мы лишь рационализируем свое нежелание это сделать.

В отличие от Честертон я не считаю, что наше "нежелание" является неуважительной причиной. Это еще более объективная реальность, чем выводимая, как правило, на основе очень торопливых рассуждений и неаккуратных наблюдений "невозможность".

Тем не менее то, что Честертон переводит проблему из модальности возможности в модальность намерения, кажется мне суще-

ственным достижением. Потому что, коль скоро что-то считается невозможным, то оно действительно становится невозможным. А если мы чего-то не хотим, то ведь сегодня не хотим, а завтра можем захотеть, не так ли? Мало ли чего мы захотим завтра.

Честертон боролся с детерминизмом, но его заботил не детерминизм научных теорий, а детерминизм как состояние, в котором пребывает обыденное сознание. Он не ученых уговаривал отказаться от детерминистских теорий, а простых людей расстаться с детерминистскими предрассудками. Вот один из образцов его риторики, направленной на эту цель:

*“Мистер Миддлтон Марри написал благородную, толкающую на размышления и несколько странную книгу. Она называется “Необходимость коммунизма”. Мое первое впечатление от этой книги я мог бы, пожалуй, выразить так: я испытываю больше симпатии к Коммунизму, чем к Необходимости”.*

Иными словами: кто хочет коммунизма — тот его получит. Но нельзя ни в коем случае вбивать себе в голову, что он необходим и неизбежен. В коммунизме самом по себе нет ничего страшного, наоборот. Но если мы будем относиться к нему, как к нашей судьбе, то наше дело плохо, и дело самого коммунизма тоже плохо.

Защищая определенную культуру, Честертон хотел убедить нас захотеть перейти в эту культуру. Отсюда метод убеждения — поэтическая пропаганда. Убеждающая, внушающая мифология.

Честертон был мифолог, причем вполне сознательный. Сам он вполне определенно отдавал предпочтение мифу как способу хранения культуры, подчеркивая в мифе не элемент ложности сознания, а элемент адекватности человеческой природе.

Он стремился увлечь нас мифологией, которая подвинула бы нас на возврат к видению мира и человека, свойственному католическому культурному набору. Он всерьез хотел нас уговорить вернуться в прошлое. Он потратил многие усилия на эти уговоры, и мы, я думаю, поступим неблагодарно, если вообще никак на них не прореагируем.

Как я уже говорил, вряд ли мы сумеем принять советы Честертонна буквально. Вряд ли мы сможем захотеть вернуться буквально во времена католической антропологии; это значило бы вернуться, так сказать, в “темный угол”. После того, что мы увидели и узнали в открытом и расколдованном мире? Мне трудно вообразить наше добровольное отступление. Это значило бы прежде всего забыть тот язык, которому мы за последние четы-

реста лет научились и, более того, который мы сами создали. Такое возвращение возможно для одиночек-эскейпистов, но не для целых обществ и культур; тут не поможет никакое мужественное волевое насилие над собой. Нас может вернуть назад только катастрофа, но если она произойдет, то мы окажемся отброшены намного дальше назад; и нам дорого придется пробиваться “вперед”, к тому уровню сознания, который был уже однажды достигнут.

Тем не менее в том, что пишет Честертон, есть-таки что-то такое, что заставляет нас крепко задуматься.

Ведь Честертон писал миф, и если считать “католицизм” этого мифа мифологической и символической фигурой, то следует в следующий момент спросить (согласно нашей, столь неприемлемой для Честертона традиции): а как мы можем для себя рационализировать этот миф?

В рациональной интерпретации мифология Честертона посвящена пропаганде трех идей: 1) необходимости устойчивой традиции и опасности ее разрушения; 2) необходимости постоянного пересмотра прошлого с тем, чтобы выяснить, не можем ли мы найти в нем что-нибудь важное и положительное; 3) неизбежности и необходимости серьезных решений, предопределяющих дальнейшую личную и общественную практику.

Ничего сенсационного в этих идеях нет. За всем блеском (и пуганницей) честертоновской риторики и парадоксалистики скрываются в высшей степени банальные советы.

Постоянный объект идеологических сатир Честертона — суетливый “рыночный” интеллектуал — вероятно, пожал бы плечами и постарался бы немедленно про Честертон за забыть, чтобы освободить в голове место для чего-нибудь более оригинального и привлекающего внимание зрителей, о которых он, конечно же, думает больше, чем о том, о чем он думает.

Но наш скептицизм, тот самый, который не позволяет нам понимать слишком буквально христианскую апологетику и пассивизм Честертон, и в этом случае рекомендует нам не торопиться.

Дело в том, что нам, пожалуй, уже известно, как опасно предавать забвению некоторые истины лишь на том основании, что они банальны. То, что земля вращается вокруг солнца, что дважды два четыре, а Волга впадает в Каспийское море, в высшей степе-

ни банально. Столь же банальны и нормативные идеи: не убей, не укради, п о м н и , что дважды два четыре и так далее.

Повторение, как писал Честертон, может утомить. Между тем, без воспроизведения одного и того же порядка нет ни общества, ни жизни. Чтобы люди не махнули рукой на воспроизведение общества и жизни, создается поэтический миф: в этом одна из его функций. Именно в таком поэтическом кодировании банальностей и упражнялся Честертон.

\* \* \*

Почему он выбрал это занятие? И чем объяснить его невероятную, даже несколько гротескную преданность делу, которое он выбрал?

В творчестве и биографии Честертонна есть черты, вызывающие любопытство и даже подозрения. Честертон был тем, что часто называют графоманом. Он писал не прекращая и, действительно, часто повторяясь. Его тексты полны "пустотами", а также не очень вразумительной риторикой. Иногда Честертон напоминает кошку, гонящуюся за своим хвостом.

Можно думать, что ум Честертонна страдал как раз от того порока, который он приписывал нашей цивилизации: бесконечного скольжения от отрицания к отрицанию и так далее. Быть может, он страдал этой болезнью даже больше, чем некоторые его современники, которых он так охотно высмеивал. Они, как правило, и не удалялись слишком далеко по пути отрицания, застревая на какой-либо случайной промежуточной идее, превращая ее в "догму дня". Бедное воображение и инстинктивная тяга прикинуть к тому, что кажется в настоящий момент наиболее авторитетным, заводили их в самое бесперспективное состояние, в какое только может попасть человеческий ум, — модного догматизма. В целом же цивилизация, как думал Честертон, движется по спирали в полную неопределенность. Он, видимо, знал это по своему опыту: мысленно он, вероятно, не раз проделывал этот соблазнительный и никуда не ведущий путь. Отсюда — такая неукротимая тяга к статике. Она имеет индивидуально-психологическое происхождение. Характер же консервативной мифологии Честертонна определяется временем, когда он жил, средой, в которой он вырос, и так далее.

Что можно сказать о репутации Честертона? Его положение в обществе довольно двусмысленно. Тот, кто собирается определить свое отношение к нему, обнаруживает себя в некоторой ловушке. Чтобы понять, какого рода эта ловушка, приведем одно из самых многозначительных высказываний Честертона:

*“Те, кого мы зовем интеллектуалами, делятся на два класса: одни поклоняются интеллекту, другие им пользуются. Те, кто пользуется умом, не станут поклоняться ему — они слишком хорошо его знают. Те, кто поклоняются, — не пользуются, судя по тому, что они о нем говорят... Круглых дураков тянет к интеллектуальности, как кошек к огню”.*

Честертон был интеллектуалом, дошедшим до стадии критики интеллектуализма, как идеологии, и интеллектуала, как социальной роли. Не думаю, чтобы интеллектуалы должны были питать к нему безоглядную симпатию. Большинству должно казаться тревожным его высокомерное презрение к стандартной интеллектуальной суете. С какой стати должны любить Честертона те, кого он не любит?

Те же, кто солидаризируется с Честертоном, берут на себя определенные обязательства: они должны не просто говорить о своем уважении к нему, но разделять его взгляды. Если же они их не разделяют, то они должны придумать какое-то очень серьезное для этого основание. В противном случае они своим преклономением перед Честертоном как раз и демонстрируют ту самую интеллектуальную суету, над которой он так издевался.

Все это объясняет, почему Честертон теперь популярен и уважаем только в довольно узком кругу единомышленников.

Честертон мог бы стать популярен среди простых людей, тех, кого в Англии называют “decent people”. Он говорит от их имени и для укрепления их морального духа. Но тут уже в ловушку попадает сам Честертон. Как писатель, он слишком изощрен, а язык его публицистики перегружен эрудицией и логическими упражнениями.

Возможно, поэтому после смерти Честертон был более или менее предан забвению. Нельзя к тому же забывать, что, как защитник католицизма в начале века, Честертон вел арьергардные бои, и его католическая апологетика понималась буквально.

Но теперь становится все яснее, насколько актуальной была критическая часть его проповеди.

Далее — многие ценности католического мира проникают в

секулярное сознание. Представления о человеческом уделе в Средние века меняется: мы “открываем” Средневековье, пожалуй, так же как общества Средних веков “открывали” античность.

Наконец — понятия “проекта”, “плана”, “управления”, “принятия решений” занимают все более видное место в сознании и, возможно, будут в близком будущем доминировать.

Образование перестало быть привилегией “образованных”; “интеллектуалы” утратили свою социальную однородность — у Честертона могут появиться поклонники. Они уже появляются. Только в 1986—1987 годах вышли три новых биографии Честертон — после сорокалетнего перерыва.

В заключение мы приведем полностью маленькое эссе Честертон, почти стихотворение в прозе, хорошо иллюстрирующее его настроение и взгляд на природу и человека.

#### Природа и логика

*“Главная трудность с этим нашим миром не в том, что он неразумный, и даже не в том, что он разумный. Настоящая трудность в том, что он разумный, но не до конца. Жизнь вовсе не лишена логики, и все же она — ловушка для логиков. Она выглядит чуть-чуть более регулярной и математически правильной, чем она есть на самом деле. Ее правильность очевидна; ее неправильность скрыта. Ее дикий нрав ждет момента, чтобы показать себя. На грубом примере я поясню, что имею в виду. Допустим, какое-нибудь существо с луны, скажем, имеющее математическую подготовку, должно обследовать человеческое тело. Оно сразу же заметит, что у человека всего по два. На самом деле человек это как бы два, правый и точно такой же левый. Заметив, что у человека две руки — справа и слева, две ноги — справа и слева, что у человека на каждой стороне то же самое число пальцев на руках и ногах, два глаза, две ноздри, две доли мозга, наше существо решит, что открыло закон. И обнаружив у человека сердце на левой стороне, придет к выводу, что точно такое же сердце у человека есть справа. И вот тут-то, будучи абсолютно уверено в себе, наше существо и ошибется.*

*Все сущее втихомолку уклоняется на один миллиметр от идеала, и вот где живет бес. Иногда кажется, что вселенную кто-то тайно предал. Яблоко или апельсин достаточно круглы, чтобы их называли круглыми, а между тем — они вовсе не круглые. Сама земля, как апельсин. И протак астроном достаточно прост, чтобы клонуть на это и назвать землю шаром. Мы сравниваем стебель травы с лезвием шпаги, потому что он на самом своем кончике сходит на нет, превращается в точку, но он — не превращается в точку. И так все: во всех вещах притаился неисчислимый остаток. Он ускользает от рационального ума, но всегда делает это в самый последний момент...”*

## ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

*В издательстве "Москва—Иерусалим" вышла новая книга Н. Гутиной "Журнал". В этой связи мы предлагаем читателям интервью с автором, который рассказывает о замысле и основных мотивах своей книги, а также отрывок из "Журнала" под названием "Симпозиум", дающий представление о ее особенностях.*

Нелли Гутина

### КНИГА, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ "ЖУРНАЛ"...

(интервью)

— Каждый автор рано или поздно приходит от разрозненных вещей к книге. Вы известны читателю, как автор многочисленных статей, эссе, даже "пьесы", и мы вполне могли ожидать появления некоего сборника ваших работ. Вместо этого является книга под странным и вызывающим названием "Журнал". Может быть, вы решили конкурировать с нами?

— Нет. Ваш журнал, как и всякий другой, — это действительно журнал. Мой "Журнал" — книга с таким названием. Ваш — реальность, мой — художественный вымысел.

— В каком смысле?

— Когда вы публикуете, например, материалы какого-либо симпозиума — это действительно материалы реального симпозиума, который где-то состоялся. У меня же в "Журнале" раздел под названием "Симпозиум" — это вымысел, плод моего воображения. В нем участвуют, спорят, выступают с речами различные персонажи, но все они созданы мною. Или взять раздел "Критика". В моем "Журнале" в нем фигурируют не реальные критики, а опять-таки персонажи, анализирующие вещи, опубликованные в этом же "Журнале" (или, реже, в других).

— Еще одна вызывающая и экстравагантная деталь: всех своих "персонажей" вы выводите под вашим именем, под каждой вещью в вашем "Журнале" стоит одна и

та же подпись — Нелли Гутина, хотя иногда позиции и высказывания этих людей даже антагонистичны. А в разделе "Полемика" ваш "автор" Нелли Гутина вступает в полемику с "моим" автором Нелли Гутиной — по поводу статей о Ближнем Востоке, опубликованных в "22". Что это — оригинальный способ отречься от собственных прежних убеждений?

— В случае "Полемики" один из моих авторов, Гутина-публицист, просто не согласен с одним из ваших, Гутиной-публицистом "22".

— Но "мой" автор, если можно так выразиться, обладал публицистическим темпераментом, интересом к текущим событиям и быстрой реакцией на них. Вы же в своей новой книге как бы уходите от этих проблем совсем в другую сторону. Вы как бы "изменяете" жанру и своей прежней заветованности в текущие проблемы и уходите от "мира вовне" к "миру внутри", сосредотачиваясь на чисто творческих проблемах писателя...

— Ну, что касается "измены жанру", или, точнее, смены жанра, то в этом, возможно, что-то и есть. Публицистика — очень агрессивный жанр. Ею нельзя заниматься в белых перчатках, ты невольно кого-то заденешь, тебя заденут, ты огрызнешься — очень мужской жанр. В своей новой книге я, напротив, культивирую, если угодно, "женское начало" в творчестве. Что касается "ухода вовнутрь", то это совсем не так. Есть общий, "глобальный" конфликт современной культуры, он включает в себя множество конфликтов помельче: между субкультурами, между культурой элитарной и массовой, между автором и аудиторией. Если разбирать его, как матрешку, то оттуда, в конце концов, можно извлечь также матрешку совсем маленькую: личный конфликт любого автора. Но он является лишь частью "глобального", поэтому говорю о нем, я вовсе не ухажу от серьезных проблем.

— Называя свою книгу "Журналом", вы пародировали существующие журнальные формы — разделы и жанры обычных журналов?

— Частично пародировала, частично имитировала. Но в гораздо большей степени мои отношения с любимым журналом, в частности — вашим, были для меня той школой, без которой я не смог бы прийти к своему новому жанру.

— В чем, собственно, его новизна? Замысел, действительно, оригинален, согласен, — вы первая догадались объединить свои произведения в единый "журнал". Но это еще не означает формального открытия. Да и сам метод теперь, после вас, вполне доступен любому...

— Вы правы — почти каждый современный автор работает в разных жанрах и мог бы, если б захотел, создать свой "Журнал". Но я еще раз напоминаю, что мой "Журнал" не есть механическое объединение моих разнородных вещей. Это книга, целост-

ная книга, объединенная единым замыслом и темой, со множеством героев-персонажей, которые взаимодействуют друг с другом.

— Этой единой темой, насколько я понимаю, является “культурный конфликт”. Но почему тогда в “Журнал” вошло ваше старое произведение — роман “Двойное дно” — и не вошла более новая “пьеса” (“Сон в летний день”), которая как раз посвящена проблемам культуры? И почему, опять-таки, все авторы вашего “Журнала”, если это разные персонажи, подписываются одним именем — вашим?

— Ответ на вторую часть вопроса включает в себя ответ на первую. Мои авторы, или персонажи, — люди разные, с разными взглядами, хотя и подписываются одинаково. Они всерьез говорят по-разному и защищают в культуре разные позиции. Я могла бы наградить каждого из них своим псевдонимом, но мне хотелось довести до абсурда этот известный механизм отождествления автора с персонажем и использовать все возможности, которые скрываются в нем. Одинаковость их имен — это игровой прием, тогда как различие позиций — основа драматургической напряженности сюжета книги. Именно поэтому в “Журнал” вошли главы из романа “Двойное дно” и не вошла “пьеса”, опубликованная в вашем журнале. Ведь автор “пьесы” и автор опубликованного в моем “Журнале” “Шоу” — это на самом деле одно и то же лицо, один и тот же автор, если вдуматься в их творческие позиции, тогда как автор “Двойного дна” и автор “Шоу” — антиподы. Они стоят на совершенно разных позициях. Я вовсе не стремилась создать сборник собственных сочинений, мой замысел был совершенно иной — это “книга с сюжетом”, в ходе развертывания которого, в разных разделах, в разных жанрах, сталкиваются люди разных взглядов, отстаивающие — и в творчестве, и в спорах на страницах одного и того же “Журнала” — различные взгляды на творчество, на культуру вообще...

— Иными словами, ваш “Журнал”, если я правильно понимаю, имеет несколько уровней? На самом поверхностном его можно читать просто, как обычный журнал, то есть собрание включенных в него произведений — пьеса, роман, рассказы, стихи, статьи, полемика, политические статьи и так далее, — это, так сказать, уровень “для читателя”, заинтересованного в “чтиве”. А на втором уровне читатель начинает (должен) понимать, что каждый автор каждого произведения — он еще и персонаж “Журнала”, как целого, который защищает свои позиции и свое место в искусстве. Тогда “Журнал” становится единой книгой, где сначала произведения, а потом — и их авторы сталкиваются в конфликте, где каждый яростно защищает свое кредо... Но тогда возникает другой вопрос: все эти взгляды, позиции, мнения и идеи на самом деле уже объективно существуют, они

уже высказаны в культуре. Зачем вам понадобилось узурпировать чужие взгляды, отдавая их одному и тому же лицу?

— Вы, а не я — редактор реального журнала, вам и карты в руки. Если вы считаете, что все эти позиции реально существуют — ищите их представителей, публикуйте их работы, устраивайте симпозиумы и полемики. Я же — не редактор, в моем распоряжении — только мои художественные средства, я не могу разыскивать реальных авторов, я могу их только — придумать. И вложить в каждого из них что-то от самой себя...

— Но когда вы вкладываете "от себя" так много, читатель может воспринять это как крайнее проявление нарциссизма, самоупоение множественностью граней собственной творческой личности.

— Видите ли, если читатель и заподозрит меня в такого рода эгоцентризме, нарциссизме и так далее, он будет не совсем неправ. Как справедливо отметил Кундера, современная литература полна авторов, читая которых можно гораздо больше узнать о них самих, чем об окружающем мире — в отличие от прежних авторов, которые умели, подобно Флоберу, укрыться за своим произведением. Но это тоже одна из проблем современной культуры, и я в этом смысле ее типичный представитель. Только, в отличие от других, я сознаю эту ситуацию и трактую ее как конфликтную, как творческую, я строю на ней произведение — вот этот "Журнал". Во время "симпозиума" в "Журнале" один из моих персонажей-авторов бросает другому обвинение, что он использует литературу для "one man show", проще говоря — для самопоказа.

— Может быть, так оно и есть?

— Может быть. Но преимущество творчества в том и состоит, что оно способно даже личные недостатки автора — эгоцентризм, нарциссизм и так далее — преобразовать в литературные достоинства. Я не верю, что можно бороться с такой мощной тенденцией современной литературы и вообще искусства, как нежелание автора самоустраниться и наблюдать за своими героями с позиции уголька в камине. Можно сколько угодно вздыхать о старых мастерах, которые умели, создав ярких героев, дать им жить собственной жизнью. И по сей день есть писатели, которые это любят и умеют делать. Но обычно это те, кто предпочитает передвигаться в эшелоне вторичных форм. Для меня в создании "образов" и "реалий" нет творческого вызова...

— Для вас важнее принять вызов интеллектуальной игры, чем доставить удовольствие читателю, во всяком случае — массовому?

— Нет, это не так однозначно. Я на самом деле люблю массового читателя...

— И даже стремитесь ему угодить, судя по “Двойному дну”...

— Да, и могу дать ему многое из того, что он любит, — пусть заглянет в “Журнал”. Но я предпочитаю сталкиваться с ним на другом поле. В романе, например. В целом, “Журнал” — не та площадка...

— Но у меня возникло, тем не менее, впечатление, что вы непрочь “убить двух зайцев”: проблемы — проблемами, а главы из “Двойного дна” (или, скажем, “Шоу”) одновременно могут читаться как обычный увлекательный роман или детективная пьеса...

— Очень трудно дать рациональное объяснение творческих импульсов, хотя задним числом можно, конечно, утверждать все, что угодно. Одно знаю наверняка: у меня с самого начала не было иллюзий, что своим “Журналом” я смогу потрафить читателю. Если его увлекут роман, пьеса, рассказы просто как “что-то”, я буду приятно разочарована “сюрпризом”. Но я думаю, что тут есть одно препятствие — форма. Читатель на самом деле хочет ту форму рассказа (или романа), которую я пародирую в новелле “Двое на остановке и читатель” из того же “Журнала”. Что и говорить, я и сама ее люблю, когда выступаю в роли “читателя”. Я по себе знаю, что читатель, — как тип, как характер, как персонаж, наконец — настроен подозрительно по отношению к “экспериментам” и “формальным играм”.

— Но если отвлечься от вашего эксперимента в области структуры “Журнала”, а говорить только об отдельных его вещах, то тут я не вижу особой новизны формы. Отрывок из приключенческого романа, детективная пьеса, рассказы, статьи — все это само по себе довольно традиционно и написано вполне обычным языком...

— О да, я заранее отказываюсь от эксперимента внутри слова, он мне кажется вычурным, в этом плане я консервативна и предпочитаю старую простую фразу, составленную из привычных слов.

— Значит, в конечном счете, новизна “Журнала” сводится к его структуре и к той игре, которая его превращает в “театр одного актера”?

— Я хотела бы здесь провести аналогию с “Шоу”, которое вы упорно называете “пьесой”. На самом деле, “Шоу” — не больше “пьеса”, чем весь “Журнал” — обычный журнал. Пьеса — это то, что предназначено для постановки. Даже если это “пьеса для чтения”, ее можно, по крайней мере, прочесть в лицах. По радио, что ли... Мою же “пьесу” поставить невозможно, получится нонсенс или даже хуже того. Ведь в ней принципиально важно уча-

стие зрительного зала, двойная и тройная игра между сценой и реальностью. "Шоу" использует приемы драматургии, ею в действительности не являясь. Точно так же и весь "Журнал" использует журнальную форму, не являясь "просто журналом".

— Иными словами, ваше "Шоу" отражает замысел всего "Журнала", который есть не только и не столько литература, сколько своеобразный театр, этакая "драма жанров"? Перефразируя Пиранделло, не только "шесть персонажей в поисках автора", но и "шесть жанров в поисках культуры"?

— Я хочу сразу оговориться: этот поиск, на самом деле, не от хорошей жизни. Если бы в моих собственных убеждениях, ощущениях и концепциях царил полный порядок, если бы мне удалось примирить различные тенденции в собственном творчестве, то не понадобилось бы и это литературно-экспозиционное представление, в котором мне приходится играть столько ролей сразу — в точности, как в "Шоу" (где мне, реальному автору, приходится выводить на сцену актрису, играющую "автора пьесы", то есть меня, которой, по необходимости, приходится играть в спектакле ее же, пьесы, главную героиню, — то есть, опять меня же...). Но поскольку нельзя примирить непримиримое даже внутри себя, то остается обратить конфликт в творческое русло, и пусть "персонажи", все эти авторы, они же — актеры, они же — герои собственных произведений, конфликтуют между собой, пусть взаимодействуют в своей собственной игре...

— Но можно ли вовлечь в эту игру читателя? Я спрашиваю, как редактор — "редактора". Ведь в конечном счете и вас, и меня интересует, чтобы читатель — читал...

— Насчет читателя... Он же зритель, он же аудитория, он же — "общество". Хочу поделиться с вами своими опасениями — или, если угодно, догадкой. Я очень подозреваю, что этого читателя, удовольствием которого вы так озабочены, на самом деле нет, он — плод вашего воображения. Его не существует. Во всяком случае, в культуре. Здесь интересы автора и интересы "читателя" расходятся. Зная свои возможности, я повторяю, что могу дать читателю все, что он хочет и любит, могу заставить его "переворачивать страницы", могу выдать ему "роман" вместо "Журнала" и героев из плоти и крови вместо "персонажей" моей игры. И может быть, я это сделаю в следующий раз. Я ведь сама не знаю, какая из моих тенденций во мне победит. Но если я это сделаю, я буду точно знать, что этим я уйду с площадки, именуемой "культурой". где "вызов" — это создание чего-то нового, где

“поиск” — это и название игры, и ее содержание. Вполне возможно, что и вне культуры есть поле для творчества, для креативности. В конце концов, меня ничего не держит на этой площадке, кроме природы моего творческого “я”. Может быть, все кончится тем, что я эмигрирую из культуры, сойду “со сцены” и тихо-тихо, литературными задами, проторенными тропинками, выйду к привычным для вас литературным формам, а заодно доберусь до сердца читателя...

— Я убежден, что настоящее произведение искусства обладает способностью воздействия сразу на всех уровнях, от элитарного до массового. Достоевского читают и как детективного автора, и как психолога, и как философского романиста, “Иосифом и его братьями” зачитывалась машинистка...

— Создать произведение, которое работало бы сразу на всех уровнях — мечта многих современных авторов. Я думаю, что в современной литературе это недостижимо, что ее судьба, в конечном счете, — разделить судьбу поэзии, которая становится настолько “герметичной”, что понять ее может лишь тот, кто в нее целиком погружен.

— Но в прозе как будто дело обстоит иначе — возьмите хотя бы Солженицына или Зиновьева, — разве о них не идут споры от кухни до академических салонов?

— Это другое дело. Этих авторов не столько читают, сколько “знают”. А знают, в основном, благодаря тому резонансу, который вызвала их внелитературная деятельность. Это не новый феномен в XX веке. Классический пример — Жан-Поль Сартр. Вряд ли его философские романы, пьесы и эссе знали бы где-нибудь за пределами Сан-Жермен-де-Пре, если бы не его общественная деятельность, которая послужила ему микрофоном-усилителем. Таков же феномен Солженицына и Зиновьева. Писатель может расширить свою аудиторию, но только внелитературными средствами. Что тоже, в общем-то, легитимно... Но, подытоживая проблему “автор-аудитория-читатель”, которой и посвящен, по сути, мой “Журнал”, я хочу сказать, что не только читатель имеет право на свое “удовольствие”. Автор — интереснейший персонаж сам по себе, и он имеет право на свою индивидуальную игру, даже если ему не всегда удается вовлечь в нее читателя.

— Ваша одержимость проблемой “автора и аудитории” заразительна. Сквозь призму этой проблемы я уже начинаю и сам видеть, к примеру, “Шоу” не так, как прочел бы его в виде отдельного произведения — скажем, в своем журнале. Бомба в руках вашего героя-Террориста, которой

он угрожает Залу, — это в каком-то смысле ведь и аллегория доведенной до крайности установки на “развлекательность”. Читатель хочет увлекательного, напряженного действия — вот ему бомба! И когда героиня, она же Автор, пытается сдержать Террориста, она фактически отвергает его способ “воздействия на публику”. Но это — “размышления на лестнице”, потом. А в ходе чтения — не воспринимаются ли ваши герои, вне всякой персонификации споров о природе творческого воздействия, просто как Террорист и Интеллигент? И все “Шоу” — как легитимация террора?

— Легитимация террора? Взгляните под другим углом: насилие, как эксперимент, который автор, она же героиня, проделывает, чтобы от него, в конце концов, отказаться...

— Но все-таки проделывает?

— Вы сами сказали — под давлением “аудитории”, то есть “общества”, которое — по тексту “Шоу” — требует, чтобы “Шоу” продолжалось. Автор как бы говорит — аудитории, зрителям, обществу — вы хотите сюжета, напряжения, сенсации, вот вам — получайте! Если ваш интерес — к произведению ли, к политике ли — поддерживается только с помощью этой адской смеси — пеняйте на себя. Смотрите, что из этого выходит...

— Это политический или эстетический “месседж”?

— Я не знаю. Речь идет о конфликте между художником и обществом, между актером и зрителями на всех уровнях, не только на литературном...

— В такой интерпретации терроризм становится, скорее, проблемой “аудитории”, которая увлечена его “спектаклем”, чем самого террориста. Что ж, не раз уже говорилось, что в терроризме — как, впрочем, и вообще в политике — много от театра, удовлетворяющего потребностям “аудитории”... Но не кажется ли вам, что это наложение уровней — сюжетного действия, политического высказывания и эстетического кредо — приводит к полному хаосу? В вашем собственном тексте сбитые с толку зрители восклицают: “Я не понимаю, где декламация, а где декларация? Где кончается шоу и начинается политика?”

— Я тоже не понимаю. В каком-то смысле все грани стираются, и я не знаю, где кончается искусство и начинается реальность. Но я не испытываю потребности отделять эстетическое от идеологического. Для меня идеология — это и есть стиль. И в этом плане терроризм для меня — тоже стилистическая проблема. Когда мне пытаются доказать, что можно провести прямую линию от “Народной воли” к современному террору и что Достоевский, якобы, еще в “Бесах” “предвосхитил”, то я этого не принимаю. Ибо речь идет о стилистически несовместимых явлениях. Там были люди высокого стиля и высокого класса. В наше время есть

явление, которое перешло границу между искусством и жизнью — это китч. И если конвенциональная политика сводится сегодня, в первую очередь, к китчу и усваивает его методы, то чего вы ждете от ее антипода — современной “революции”? Она тоже становится китчем, во всех его проявлениях. Идеи Маркузе были китчем, движение 60-х годов было китчем, и эти несчастные захватчики самолетов — те же китчисты. Я не могу удержаться, чтобы не сказать, что не случайно в наше время революция так “обарабилась”. Когда вы смотрите по телевизору все эти многосерийные захваты самолетов, переговоры, спасение заложников, слезы — вы словно смотрите примитивный арабский фильм. Нет, я не хочу сказать, что во всем виноваты арабы — все мы “обарабились” в смысле вкуса, весь мир. И это опять-таки проблема стилистическая, а не политическая. Вот и над романом, над книгой мы хотим так же переживать, как над телевизионными сводками — при этом, конечно, оставаясь в удобном кресле и от всех проблем современности отделяясь “легким испугом”. И когда — в реальности — мы получаем свою дозу “саспенса”, мы получаем лишь то, что заслуживаем.

— Все это весьма спорно. Ваш всеобъемлюще-стилистический подход стирает грани между чисто культурной проблематикой, политической, этической...

— Вы отчасти правы: “Журнал” — это продукт определенной дезориентации автора, культурной и этической...

— И из этой дезориентации рождается произведение?

— Оказывается, да. Из ясности и порядка рождаются только доктрины и догмы.

— Но как совместить этот сумбур и хаос с вашим же “художественным манифестом” в “Журнале”, в разделе “Поэзия”, где вы провозглашаете, в написанном по-итальянски стихотворении “Аквамарин” (я цитирую в подстрочном переводе): “Истинная красота всегда проста — чистая линия, спонтанный стиль” и так далее?

— Вы правы — совместить нельзя. Я не могу совместить противоречивые тенденции в собственном творчестве, в собственном сознании. Поэтому-то и родилась идея разбить свое собственное “я”, творческое “я”, на “персонажи”. Пусть каждый “пишет, как он слышит”. Разве это не принцип любого журнала? В конце концов, я не случайно назвала свою книгу именно “Журналом”...

*Вел интервью Р. Нудельман*

## ИЗ КНИГИ "ЖУРНАЛ"

### Демократия и тоталитаризм в терминах культуры

(симпозиум)

*Под эгидой "Журнала" был проведен симпозиум, на котором выступили с докладами его авторы. Симпозиум завершился дискуссией за круглым столом. Ниже мы предлагаем отрывки из выступлений докладчиков и приводим запись дискуссии.*

Из выступления Нелли Гутиной (автора "Шоу"). Говоря в терминах культуры, писатель, не ориентированный на массового читателя, имеет у нас столько же шансов погибнуть, что и писатель, бросивший вызов официальной идеологии там, за железным занавесом.. Его мало утешает то, что он приговаривается к творческой смерти большинством голосов. Голосов "нечитателей". Говоря в терминах культуры, я не понимаю, почему смерть Мандельштама должна вызывать больше сочувствия, чем смерть Сократа.

Мне повезло, мне довелось работать в условиях свободы слова. Мне довелось при этом выжить — мне повезло. Потому что моя жизнь — говоря в терминах культуры — не раз висела на волоске. Мне до сих пор никак не удается почувствовать, сидя за письменным столом, радость по поводу того, что творческий акт формально не стеснен, в то время как где-то там, за занавесом, существует цензура и писатели "пишут в стол". Боюсь, что в стол пишу я, а не они. Что касается института цензуры, то он меня интригует. Подумать только, написанной фразе придается такое магическое значение! Считается, что слово имеет силу. Что словом можно перевернуть горы и свергнуть советскую власть. Стало быть, достаточно вычеркнуть слово, чтобы гора и власть остались на месте? Культура, в которой бытуют такие мифы, меня скорее интригует, чем устрашает. Ведь в отличие от нее наша культура основана на скептическом отношении к слову — слова у нас ничего не меняют и слова текут параллельно делам, им не мешая... Эта наша знаменитая свобода слова покоится на неверии в силу слова — и в силу искусства. Слово свободно, безответственно и легкое квесно. Так вот, в несвободных странах писатели борются с теми, кто боится слова. В свободных — с теми, кто его презирает. Поэтому в мире несвободном даже цензура работает, в конечном счете, на писателя. В мире свободном — даже свобода против него. Потому что перед нами аудитория, которую не проймешь словом. Которая как бы говорит автору: ты сначала пошуми, ты сначала удиви, а мы потом, может, послушаем... Аудитория, которая напрашивается на эпатаж, которая приглашает к террору — причем не только "культурному"... Аудитория, которая реагирует только на взрыв — причем не только аллегорический.

Вы спросите — как справиться с подобной аудиторией и вообще — разве нет никакой другой? На что я отвечу: а она такая, никакой другой

нет, но с ней можно справиться. Я не собираюсь отсиживаться в башне из слоновой кости в ожидании тех — более приятных для культуры времен, — которые не придут никогда. Я полагаю также, что ошибочно думать, будто есть две отдельные площадки для литературных игр — одна массовая, другая элитарная. Площадка одна и правила игры тоже. Они сводятся к демократии, то есть к необходимости считаться с волей большинства — или подчинять его себе.

Необходимость считаться со вкусом большинства — или воздействовать на него... Не фатально ли это для искусства? Ну, это мы еще посмотрим. Думаю, что если искусство хочет выжить, оно неизбежно — в условиях демократии — должно взять на вооружение законы китча. На самом деле ничего нет легче, чем сказать “фи” и сойти со сцены... Я, со своей стороны, играю в эту демократическую игру до конца — каким бы он ни был. Они мне предоставляют площадку для самовыражения? Прекрасно, я ею воспользуюсь. Они дают мне свободу Слова? Что ж, я докажу им, что Слово не просто звук. Они хотят бомбы? Они ее получают. Таким образом, этот принцип демократии — принцип непротравления большинству — я довожу до абсурда, когда он уже превращается в свою противоположность. Я как бы говорю: смотрите, это деструктивно — для автора, для аудитории, для культуры... Я, конечно, постараюсь не доводить дело до бомбы, но мне все равно придется “тихо-тихо носить ее за пазухой”... И мы, конечно, “пойдем другим путем”, но вопрос — куда? И вот я говорю: другим путем, да, но к той же самой цели: к свободе от демократии, господина. По крайней мере, в искусстве...

Из выступления Нелли Гутин ой (автора “Двойного дна”). Понятие свободы творчества не исчерпывается свободой от цензуры или идеологических ограничений. Свобода творчества — это прежде всего свобода от клика. При этом неважно, что из себя представляет клика — партийных идеологов или так называемую “культурную элиту”, присвоившую себе право распределять места в ею же созданной иерархии. В отличие от диктатуры, демократия (в искусстве) отказывается выработать заранее и раз навсегда установленные критерии и не признает иерархии. При демократии культура может быть, как это ни парадоксально звучит, даже “антикультурна”. Наличие “культуры” в традиционном понимании этого слова больше не является необходимым условием креативного акта: он доступен и варвару — и мы живем в эпоху легитимации креативности во всей первозданной спонтанности этого акта. Это, на добро или на зло, принесла нам поп-культура.

Лично я вижу в этом положительный момент. Культура перестала быть “культом” и вышла из-под власти “жрецов”. Каждый участник этого видоизмененного культурного процесса получает право на существование вне зависимости от его ценности с точки зрения традиционных критериев культуры. Означает ли это снижение общего уровня культуры? Не думаю. При демократии массовая и элитарная культуры не антагонисты. И если один издатель представляет интересы “большинства”, то есть массового читателя, то есть и другие “издательские партии”, которые защищают интересы так называемого “элитарного меньшинства”. Не думаю, что массовая куль-

тура подавляет элитарную. Напротив, она дает ей жить. И если у одних оказывается при этом чуть больше престижа и чуть меньше денег, то это только справедливо. Демократия в культуре в том и состоит, чтобы каждый автор находил своего издателя и каждая книга — своего читателя. То есть в современной демократической культуре уже осуществлен советско-коммунистический принцип — каждому по потребностям и от каждого по способностям (возможностям). Каждый потребитель культуры вправе получить продукт, который соответствует его запросам и уровню. Нужно ли тянуть читателя за волосы, заставляя его прыгать выше себя, выше собственного понимания? Это было бы антидемократично. Мы не можем лишать права на культуру тех, кто не имеет определенного “образовательного ценза”. В условиях демократизации культуры писатель расплывается за свой снобизм, элитизм и высокомерие. Подобно политику, он должен быть демократичным, он обязан выучить язык, понятный большинству — массам читателей.

Но стоит ли это считать такой уж большой жертвой? Думаю, что нет. Компромисс между тем, что хочет сказать автор, и тем, что согласен выслушать читатель, а издатель опубликовать — это конструктивный компромисс. От него прежде всего выигрывает сам автор, который волею неволею овладевает если не искусством, то техникой владения вниманием читателей, — а это и есть самая старая и основная техника рассказчика, то есть писателя. Она и приводит, в конечном счете, к этому пресловутому “коммерческому успеху”. Стремиться к нему не позор и не предательство собственного таланта. Коммерческий успех не является аналогом партийного диктата в тоталитарных культурах, как это пытаются представить здесь некоторые, протестуя против “кассовой диктатуры”. Коммерческий успех, другими словами — успех среди множества рядовых читателей, не получивших специального филологического образования, — приводит не к закабалению автора “толпой”, а к его освобождению из-под власти клика, идеологических или литературных. Он делает автора независимым — насколько это возможно в нашей культуре. В тоталитарных условиях культура уязвима и зависима, она должна постоянно существовать под бдительной опекой либерального или деспотичного владыки, партийного вельможи или клики, присвоившей себе монополию на “хороший вкус”. Только в условиях демократии культура наконец перестала играть роль вечной содержанки и встала на свои собственные ноги. И если уж это не свобода творчества, то я не знаю, что такое свобода...

Из выступления Нелли Гутиной (редактора “Журнала”). Когда я делала свой “Журнал”, мне заглядывали через плечо авторы, критики, издатель и Его Величество Читатель. Свободна ли я была при этом? Как сказать. Конечно, если бы мне пришлось делать “Журнал” в условиях тоталитарной культуры, мне бы еще заглядывали через плечо цензор и какой-нибудь “куратор”. Свободы, конечно, было бы и того меньше. Есть проблема ориентации — на кого, для чего, зачем... Проблемы выбора при этом нет, потому что нет выбора. Ты не можешь исключить один компонент за счет другого, ты обязана всех иметь в виду — авторов, большая часть которых не в ладах друг с другом, читате-

лей с их непредсказуемыми реакциями... Среду с ее слишком предсказуемыми реакциями... Ты не можешь ничем пренебречь.

У меня, как у редактора, есть обязательства и перед авторами, и перед читателями, и перед средой. Я вынуждена отождествлять себя и с теми, и с другими, и с третьими. Начнем с авторов. На самом деле нет более "антидемократического" существа, чем автор. Каждый автор — создатель своего собственного мира. И при этом его патриот. Его отношение к другому автору, к другому миру часто бывает шовинистическим. Примирить их всех, удержать в рамках одного "Журнала", одной культуры — нелегкая задача. Каждый из моих авторов играет свою игру и навязывает мне ее правила. Один хочет "спуститься к массам", другой — "поднять их до уровня сцены".

Теперь поговорим о читателях. Поскольку они так неоднородны, я сознательно упрощаю понятие "читатель", разбивая его на две условные категории — читатель, не вовлеченный непосредственно в культурный процесс, и читатель вовлеченный, то есть "среда". Здесь проблема ориентации перерастает в дилемму. Жестокую дилемму. Как правило, решить ее невозможно. Не решить — смертельно. Решая ее, я пытаюсь идти по пути компромисса. Исходя из интересов автора. Есть авторы, на которых среда действует разрушительно, но массовый читатель их сохраняет и поддерживает. Есть авторы, которые не приняты массой, но среда подставляет им плечо. Есть авторы — одинокие волки, не понятые ни массой, ни средой, застрявшие между двух миров — и таким я даю пристанище.

Вы скажете, что есть идеальные авторы, которые нравятся всем. Может быть, но не у меня в "Журнале".

Признаюсь, иногда меня одолевает "тоталитарное искушение". Надо едет искать выход из лабиринта авторских "эго", читательских капризов и претензий среды. Хочется "отдать кесарю" его идеологическое "кесарево", а чтобы он за это освободил тебя хотя бы от одного из компонентов. Например, от Его Величества "Широкого Читателя"... Нет, лучше от мнения среды... Короче, нужно еще хорошо подумать...

Иногда мне кажется, что творчество вообще никогда не бывает свободным и не происходит в условиях свободы. Творческий акт — это всегда "тур д'форс". То есть бунт, увенчавшийся произведением, захват культурного пространства силой таланта, установление своих критериев. Иными словами, условие существования культуры — это не условия полной свободы. Существование демократической культуры ограничено "несвободами" — от читателя, от денег, от мнения среды. Но я думаю, что в наших условиях мы можем сами дозировать степень своих зависимостей и предпочесть, скажем, зависимость от широкого читателя зависимости от мнения среды. Или наоборот. Таким образом, преимущества демократической культуры — это свободный выбор между различными несвободами.

В заключение хочу сказать, что, работая над составлением "Журнала", я вынуждена была проявить максимум терпимости и гибкости, мобилизовать всю свою способность к компромиссу и плюрализму. Не думаю, что я смогла бы выполнить свою задачу в условиях тоталитарной культуры. Но как моя личная творческая задача соотносится с культурой

вообще? Я не настолько самоуверенна, чтобы заявить: все то, что хорошо для меня, хорошо и для культуры... Не уверена я также, что выражение "хорошо для меня" реально отражает мое состояние умеренного удовлетворения от более или менее удачной попытки компенсировать то бремя "несвобод", которое мне приходится нести...

Из выступления Нелли Гутиной (критика). Если меня, как критика, спросят, какие писатели заслужили мою самую высокую профессиональную оценку, то я вынуждена буду назвать тех, кто сформировался либо по ту сторону железного занавеса (даже если он, в конечном счете, оказался по эту), либо тех, кто выращен на беспокойной и невосприимчивой к демократии латиноамериканской почве... Поэтому проблема демократии и тоталитаризма в терминах культуры ставит меня в несколько неловкое положение. Мне приходится, скрепя сердце, констатировать, что советская система, как бы я к ней ни относилась, каким-то образом выращивает хороших писателей. Но, с другой стороны, я могу объяснить это себе плодородностью русской литературной почвы, которую не сумел выработать даже социалистический реализм. Однако поскольку сама русская почва в гораздо большей степени прославлена литературой, нежели свободами, мне никак не избавиться от тревожного подозрения, что свобода слова гораздо менее необходима тому же самому слову, чем оно на то претендует. Но если в жарком споре о том, что "благодаря" и что "вопреки", чаша весов будет склоняться в сторону "благодаря", то мне придется напомнить вам, что литература — это еще не все. Как-никак мы с вами не только участники литературного процесса, но и просто люди — если умудряемся оставаться таковыми, когда встаем из-за наших пишущих машинок. И вопрос, который мы все могли бы себе задать, сводится вот к чему: готовы ли мы поступиться качеством жизни во имя качества культуры?

Я готова допустить, что автор, как существо, значительную часть времени живущее внутри культуры, а иногда даже насильно заключенное в ней, способен, придя в отчаяние от посредственности, столь характерной для нашего времени, сказать: да, я хочу качества культуры любой ценой, после культуры хоть потоп, моя культура — моя крепость...

Я сама, тоже будучи культурным животным, тоже, может быть, согласилась бы заплатить за качество культуры высокую цену. Однако я понимаю, что несмотря на кажущуюся соблазнительность сделки, она может, в конечном счете, обернуться надувательством. И отказавшись "чуть-чуть" от наших возлюбленных и комфортабельных свобод, мы не получим взамен товар с гарантией культурного качества. Увы, невозможно построить рациональную и универсальную схему причин и следствий культурного процесса, потому что процесс неуправляем: пути культуры неисповедимы, то есть непредсказуемы. Мы никак не в состоянии программировать культурные расцветы, не говоря уже о выведении формулы баланса между степенью тоталитарности режима и уровнем культуры. Даже если бы мы ее нашли, кто рискнул бы превратить ее в руководство к действию — то есть перевести язык культуры на язык политики?.. Так о чем же разговор? Всего лишь об интерпретации, господа. К чему и сводит-

ся история вообще и история культуры в частности. Поскольку мы все здесь не без способностей к вольным интерпретациям, я не стану вдаваться в рассуждения о том, отчего демократия Афин и тирания Борджиа были так благотворны для культуры... Что касается нашего времени, то даже сомнительное удовольствие вольных интерпретаций приходится оставить на долю потомков. А тем временем, каким-то образом, делается культура. Расчлененная, неоднородная, элитарная, массовая — она возникает даже там, где по моей литературоведческой концепции ей вообще не надлежит быть. Так вот, благодаря демократии или вопреки ей, благодаря диктатуре или вопреки ей, она ведет иррациональное существование и каким-то образом выживает. Даже если при этом динозавр превращается в ящерицу.

#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

#### НЕЛЛИ ГУТИНА "ЖУРНАЛ"

Актер и Актриса, занятые в спектакле о терроризме, оказываются участниками реального террористического акта, и зрительный зал становится его сценой...

Советские подпольные комбинаторы создают тайную экономическую империю в СССР...

Моше Рабейну спорит со своим двойником, и Мария, мать Иисуса, замышляет заговор против Бога...

Автор "Журнала", он же его герой, критик, интервьюер и участник дискуссий, населяет книгу множеством отражений, которые спорят друг с другом, с читателем и редактором, вовлекая всех в увлекательный мир напряженной драмы, остросюжетного детектива и интеллектуальной интриги.

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 дол.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ДИАЛОГИ

*Человек и общество, свобода и несвобода, трудный поиск духовной независимости — таковы сквозные мотивы предлагаемого ниже эссе.*

*Бен-Барух — псевдоним автора-репатрианта, работающего в трудном жанре философского диалога. Наш журнал уже публиковал первый "Диалог" из этой серии (№ 48), а также филологическое эссе автора "Вав, обращающий время" (№ 47).*

*Бен-Барух*

### РАЗГОВОР НИ О ЧЕМ

— Послушай, чего мы здесь хотим?

— Кто это — мы?

— Ну, ты, к примеру? Что занесло тебя на эту галерею?

— Ах, ты об этом... Что занесло... Сейчас вычислю... Значит, так: 1) житейская безалаберность, 2) фантазия, 3) чувство протеста, 4) здоровый инстинкт.

— А как насчет идей?

— Смотри рубрику "фантазия".

— А под какой рубрикой искать разочарования?

— Пардон за грубость, я не разочарован.

— Где же тогда здоровый инстинкт? Испарился в сухом климате?

— Видишь ли, здоровый инстинкт проявляется, в частности, и в том, чтобы принимать вещи такими, какие они есть.

— Здорово устроился.

— Только не подумай, что я доволен жизнью.

— Оправдываешься?

— Пытаюсь объяснить. Но тебя, похоже, заклинило.

— Эх, хабиби. Разве я не знаю, что ты из двух произвольно взятых вопросов и одного парадокса можешь построить теорию, стройную, как этот кипарис, и полезную для жизни, как фракный костюм на Земле Франца-Иосифа.

— Чего же ты от меня хочешь?

— Ах, не добро быть человеку

одному. Так будь же и ты человеком, а не статуей мыслителя!

— То есть?

— То есть согласишься просто и честно, что и здесь жизнь херовая, хотя и не такая херовая, как там!

— А потом что? Объявим голодовку протеста против Господа Бога?

— Ну уж к Богу у меня претензий нет. Раз земля нас все еще носит, значит мир сотворен на совесть.

— Так чего ж тебе не хватает?

— Рассолу.

— Чего?!

— Видишь ли, чем больше я наблюдаю происходящее вокруг, тем чаще вспоминаю того пьяного, который, наткнувшись на столб, горько заплакал, а потом стал биться об него и кричать: откройте! Поэтому меня все меньше интересует проблема добра и зла. Вот, если бы кто-нибудь нашел лекарство от этого повального идиотизма, который носится облаком от Северного и до Южного полюса!

— Лекарство для четырех миллиардов инфекционных идиотов?

— Да в том-то и штука, что каждый в отдельности более или менее нормален. Но любое множество людей тотчас превращается в коллективного недоумка. Как будто все здоровое, что есть в каждом, исчезает, а больное взаимное усиливается. Начиная с двух десятков человек и до бесконечности. Поэтому лекарство, эффективное для десятков, может помочь миллионкам.

— Торжество здравого смысла в одной отдельно взятой стране? Советую начать с Чрезвычайной Комиссии по борьбе с нездоровым смыслом.

— Значит — безнадега?

— По-моему, из простого человеколюбия лучше заняться личной наживой.

— Увы, не дано.

— Пиши стихи. Но только не длинные.

— Может быть, ты и прав. Ну, что ж, попробуем твой подход.

К чертям страждущую человечность, вернемся к нашим играм. А все же, почему из разумных индивидов получается глупый коллектив?

— Прежде всего, я не согласен, что коллектив глуп. Во всяком случае, в теории, есть и другая возможность. Рассмотрим хотя бы бьющегося о столб пьяного. Не так уж он глуп. Он просто лишен возможности изменить направление своего движения. Во-первых,

поврежден его вестибулярный аппарат, т.е. чувство равновесия и способность ориентироваться в пространстве. Во-вторых, он прекрасно понимает, что вокруг столба пустота, но это-то его и пугает. Препятствие мешает ему продвинуться вперед, но зато заменяет орган равновесия.

— А что ж, пожалуй. Стало быть, алкоголь не оглупил его, а ограничил?

— Напротив, дал избыток свободы. А здравый смысл пьяного ищет ей ограничение.

— Как это свобода может быть лишней?

— Ты напомнил мне раджу из сказки, который думал, что денег не может быть слишком много. Неограниченная свобода эквивалентна вечному одиночному заключению.

— Каким же это образом?

— Таким образом, что человек — существо ограниченное, хотя и неопределенно-ограниченное.

— Как это, неопределенно-ограниченное?

— Сколько ты намерен прожить?

— Откуда мне знать?

— Так может, ты и не умрешь никогда?

— Ну уж, нет.

— Вот тебе пример неопределенной ограниченности. И это справедливо для всех проявлений человечности, включая свободу. Точно так же, как любой поступок ограничивает нашу жизнь, он ограничивает и нашу свободу. Неограниченная свобода — это свобода от поступков, что равносильно свободе от жизни.

— Так, по-твоему, нет разницы между поступком свободным и вынужденным?

— Есть разница. Но не в самом поступке, а в его начальных условиях. Если поступок является непосредственным продолжением причинно-следственного ряда — он вынужден. А если разрывает последовательность — свободен. Впрочем, будучи совершен, он ограничивает свободу тем, что становится причиной нового ряда поступков.

— Но ведь большинство наших поступков преемственны.

— Поэтому свободный поступок кажется большинству безумным.

— А ты можешь разделить между свободой и безумием?

— Если пьяный оторвется от столба — это безумие. Но если трезвый обойдет столб — это свобода.

— Что же, разница между безумием и свободой — это разница между пьяным и трезвым? Как же ты только что уподобил опьянение расширению свободы?

— Трезвость — не свобода. Трезвость — это чувство меры. Свобода подобна хождению по канату. Если у тебя нет достаточного чувства меры, свобода легко может обернуться свободным падением, и лучше уж тебе держаться за столб.

— Не испытываю желания сделаться циркачем.

— И тем не менее свобода, как и равновесие, есть исключительная возможность поведения, тогда как потерять свободу можно любым числом способов.

— И ты называешь свободой постоянное напряжение? По-моему, напряжение — синоним ограниченности.

— Когда не требуется поступка, напряжение ограничивает свободу. Но если нужно совершить поступок, именно расслабление оказывается синонимом рабства. В состоянии расслабления ты хватаешься за встречный столб.

— Так человеческая свобода — это напряжение, позволяющее человеку сохранить свою меру?

— Или иначе: только внутреннее напряжение позволяет человеку быть самим собой.

— Почему непременно внутреннее напряжение? Человеческие отношения растягивают нас снаружи.

— А внутреннее напряжение сжимает, собирает, концентрирует. Поэтому внешние напряжения всегда противодействуют внутреннему. Ситуация, когда внешнее одолевает внутреннее, — это и есть рабство.

— Знаешь, на что это похоже? На чувство ответственности. Рабство — это такое напряжение, которое освобождает от ответственности.

— А ответственность перед господином?

— Не ответственность, а страх ответственности. Пока раб исполняет волю господина, ответственность на господине. А отступая от чужой воли, раб принимает ответственность на себя.

— И рискует собственной шкурой.

— Понятие ответственности — это всегда "победа или смерть" или то и другое вместе, хотя и не всегда буквально.

— Так может быть, страх ответственности и страх смерти суть одно!? Послушай, это очень интересно. Если не страх раба перед господином, то страх ответственности перед кем?

— Ну-ну, успокойся. Попробуем разобраться без мистики. По-моему, у страха смерти несколько компонент. Прежде всего — это страх одиночества. Ведь человек в посюстороннем мире — это часть. Начиная с того, что он буквально кусок земли, и кончая его частью в историческом человечестве. Впрочем, центр тяжести этого страха отрыва, разумеется, посередине, в отрыве от ближайшей среды. Вторая компонента — это страх остаться наедине с самим собой. И третья — это страх свободы, т.е. чего-то, что не является продолжением предыдущего.

— Не могу не подивиться негативному соответствию между описанным тобой страхом смерти и религиозными представлениями о переходе в иной мир. Буквально компенсация по всем пунктам: ангелы и праведные предки принимают душу умершего и влекут ее на "весы", где "разновесом" служат события ее прошедшего. Т.е. никакого отрыва, ни секунды одиночества и причинная непрерывность. Но если миф о смерти — всего лишь компенсация страха смерти, то где же эквивалент мифического суда?

— Обрати внимание, что все элементы мифа компенсируют страх, кроме суда. Суд не только не компенсирует, но концентрирует страх смерти.

— По-твоему, суд реален?

— Думаю, что реален, нужно только отбросить театральный элемент. Видишь ли, мы привыкли смешивать суд с его общественной функцией, и это затемняет его суть. Сам по себе суд есть всего лишь разрыв непрерывности. Суд не интересуется, что было после, но только то, что привело к данному событию. Но тогда само событие становится из ряда вон выходящим.

— Ну, и что?

— А то, что суд есть обращение зрения. До суда мы смотрим вперед, на следствия. Суд же отсекает следствия и заставляет взглянуть назад. Таким образом, следствия превращаются в причины, и последовательность вынужденных событий — в ряд свободных поступков.

— Т. е. суд заставляет взглянуть на раба глазами свободного человека!? Да уж, есть, чего бояться... Так вот о какой ответственности идет речь... Знаешь, впервые в жизни понял, что именно у меня болит, когда болит совесть.

— Что?

— Несоответствие поступка требованию внутренней свободы. Вот, значит, как спасает нас совесть от заключенного в смерти

суда... Но мы отвлеклись. Почему же коллектив совершает поступки, нелепые с точки зрения отдельного человека?

— С точки зрения свободного человека — ты хочешь сказать. Ведь самостоятельность — и есть свобода от общего. А общность освобождает от самостоятельности. Внешние напряжения, создаваемые обществом, противодействуют внутреннему напряжению человека, ослабляют в нем чувство личной ответственности и заменяют его страхом перед ответственностью в случае противодействия общему.

— То есть, все то же древнее рабство?

— В каком-то смысле худшее. Древнее рабство было наивным и прямолинейным. Чтобы человек стал послушным рабом, нужно было убедить его, что он раб. При демократии самые послушные рабы — это те, кто не сомневается в том, что свободен.

— По-твоему, демократия — форма рабства?

— Я вижу у тебя во рту кончик слова "тоталитаризм". Сплюнь. Между демократией и тоталитаризмом такая же разница, как между рабством еврейским и египетским. Есть рабство, ограниченное законом, и есть неограниченное. Между удавкой и веревкой мы выбрали галстук в тон.

— Зачем же демократия защищает наше с тобой право на свободные поступки?

— Прости, но ты сказал глупость. Это все равно, что сказать: демократия защищает наше право выходить сухими из воды. Свобода в принципе беззащитна, кто защищен, тот уже не свободен.

— Это все — софистика. Ты скажи прямо: политический протест — это свобода или нет?

— Если он опирается на поддержку массы — это не свобода. А если не опирается — это не протест, а мнение. Демократия защищает свободу мнений, но свобода действий всегда ограничена массой.

— Зачем тогда свобода мнений?

— Затем, что это и есть демократия. Власть народа опирается на его право поддержать предлагаемое ему мнение. Теоретически, каждый может предложить свое мнение народу и получить его поддержку. Но практически условием осуществления этого права является достаточно плотная (идеологически однородная) масса народа и средства давления на нее. Чем плотнее масса, тем легче ее убедить. Особенно, если многообразие форм давления выглядит, как проявление свободы.

— Но зачем симулировать свободу, если можно обойтись без нее?

— Человек обречен быть человеком. Поэтому он либо поступает по-человечески, либо симулирует человеческое поведение.

— Знаешь, по-моему, мы скатились к бесплодному упрощению. Еще немного, и начнем определять человека.

— То есть уподобимся толпе. Ведь это толпа стремится к самоопределению, национальному, партийному, сословному, короче — к разделению на наших и не наших.

— А, мыслитель, разволновался!

— Если я что-нибудь ненавижу, так это толпу.

— Что так?

— Потому что толпа — это концентрированная ложь о человеке.

— Отчего же ложь? Напротив, печальная правда. В конце концов, действия толпы производятся людьми.

— Нет. Толпа начинается там, где кончается человек.

— А где кончается человек?

— Там, где начинается отождествление человека с целью. Можно, пожалуй, назвать это принципом неопределенности человеческой деятельности: чем определеннее цель, к которой стремится человек, тем бессмысленнее его деятельность.

— Но тогда верно и обратное: чем осмысленнее деятельность, тем неопределеннее ее цель.

— Конечно. Это творческая деятельность, результаты которой тем менее предсказуемы, чем более осмыслены.

— Но ведь нельзя же всю человеческую деятельность свести к творчеству. Надо же иногда и ложку ко рту поднести.

— Разумеется. Я только хочу сказать, что есть отчетливая связь между определенностью цели, единообразием действия и количеством участвующих в нем людей. Общественная деятельность не является исключением. На одном ее полюсе творческие усилия одиночек, плодами которых пользуются многие. А на другом полюсе — демагогические лозунги, для осуществления которых необходима толпа. Чем ограниченнее лозунг, тем большую толпу он может собрать и тем бессмысленнее окажется его осуществление и бесчеловечнее результат.

— Где же граница между историей народа и действиями его толп?

— А не надо проводить границу. Потому что ограниченный народ — это и есть толпа. Но если хочешь различить между толпой и

народом, то вот, пожалуй, подходящее различие: народ рождает своих героев, а толпа их убивает или превращает в тиранов. Поэтому о свойствах народа нужно судить по жертвам его толп. А свойства толпы вполне интернациональны.

— Опять упрощение. На сегодняшний день можно говорить о толпах и тиранах только в очень ограниченном контексте.

— Сегодняшний день и родился как преодоление отношения тиран—толпа. Теперь доминирующее общественное отношение — это лидер-большинство. Оно гораздо менее поляризовано и более организовано. Если толпа — это народ, определенный жестко, то большинство — тот же народ, определенный менее жестко. Менее жесткое определение народа — это и менее жесткая тирания. А неоднородность большинства — это неоднородность его лидера.

— То есть парламентская демократия. Но почему она должна быть более организована? Казалось бы, напротив, толпа организована более организованнее большинства.

— Какая структура более организована — аморфная или кристаллическая?

— Кристаллическая.

— А какая из двух более хрупкая?

— Аморфная.

— Отношение тиран—толпа может ставить и решать только жестко определенные задачи типа: победить в конкретной войне. Если цель достигнута, тирания укрепляется, если нет — падает. Парламентская система позволяет решать задачи менее ограниченные, достижения и неудачи потрясают ее значительно меньше. Поражение тирана влечет его смерть и анархию в государстве. Поражение лидера — всего лишь ротацию лидерства.

— Так это же хорошо. А ты ополчился на демократию!

— Ты так думаешь? Ну-ка, вернемся на минуту к нашему столбу, который уже превратился в пробный камень. Вот, на него навалилась толпа. Что произошло?

— Кое-кого задавили, но свалили и столб.

— А теперь выпустим на него компанию пьяных.

— Один наткнулся на столб и уперся в него, как в стену, а остальные ухватились за того, кто ухватился за столб.

— Это и есть модель поведения демократии.

— Но почему?!

— Потому что демократия дала человеку избыток свободы, не дав избытка самостоятельности. Демократическая свобода — это

свобода слова, но не свобода действия. И когда требуется решительное действие, демократия теряет равновесие. Демократия расширяет наши возможности, но не дает средств ими пользоваться.

— Но почему?!

— Потому что принадлежность к большинству лишает человека самостоятельности, а непринадлежность к большинству лишает его возможности.

— Здорово! Трезвому не дают прохода, а пьяный и так не пройдет! Да на чем же держится этот цирк? Почему люди перестают быть людьми и становятся тупым большинством?

— Волшебная палочка, превращающая человека в члена того или иного стада, называется "культ". Толпа служит культу Силы. Большинство — культу Успеха. Демократическое общество — это ревностное и самоотверженное служение Успеху.

— Ну уж, самоотверженное?

— Возьми, к примеру, тотализатор. Ведь подавляющее большинство участвует в нем в убыток себе, с надеждой на почти невероятное. И это еще детские игры. Настоящее служение Успеху гораздо изощреннее. В жертву приносятся и свобода, и талант, и здоровье, и отношения с людьми. Служение Успеху настолько слепое, что никого не останавливает тот очевидный факт, что приняв от человека все жертвы, Успех не только не дает ему счастья, но и отнимает то, которое у него было и которое он не умел ценить.

— Разве достижение желаемого не есть счастье? И разве не стремление к достижению движет человеческой природой?

— Видишь ли, любой культ опирается на природные стремления человека. Но стремление превращается в культ тогда, когда теряет меру. В человеческом мире, как и в природе, нельзя достичь без затрат и получить, не заплатив. Но человек волен соразмерять затраты с достижениями и приобретение с ценой. Культ — это нарушение соразмерности.

— Есть ли связь между этой соразмерностью и внутренней мерой человека, о которой мы говорили?

— Связь? Да это же она и есть. Только потеря внутренней меры, ослабление внутреннего напряжения делает возможным и даже необходимым массовый культ. Культ заменяет человеку потерянное чувство равновесия. Но мне все еще не ясно, что именно лишает человека этого чувства?

— А ты уверен, что духовное равновесие такое же естественное свойство, как равновесие физическое?

— А ты нет?

— Я теряю эту уверенность. Особенно, после переселения в Свободный мир. Иногда мне кажется, что мы все еще в каменном веке, и Бог знает, сколько еще времени понадобится человечеству, чтобы разучиться вести себя как первобытное стадо.

— Как же тысячи лет духовной истории, из которой мы выросли? Ведь сама возможность рассуждать в тоне высокого разочарования существует только благодаря ей.

— Тебе не приходило в голову прикинуть число людей, живших последние три-четыре тысячи лет?

— А что?

— Теперь вспомни, сколько известных нам из истории людей мы могли бы включить в духовную генеалогию.

— А знаешь, на что это похоже? На котел с водой. При нормальной температуре количество молекул пара мало по сравнению с количеством молекул воды. Но поставим котел на огонь. Молекул пара становится все больше, а воды — все меньше. И в конце концов...

— Котел лопается.

— Ну, и что?

— Что, ну и что?

— Чему ты радуешься? Тому, что похож на молекулу? Или тому, что до этого додумался? Чем больше следствий обещает модель, тем более мы должны ее уточнить. Но чем более мы ее уточняем, тем более абстрагируем от реальности, которую моделируем. В конце концов, реальность вообще выпадает из поля зрения, а ее место заступает нами же построенная модель.

— Да-да, я уже двадцать раз делал эту ошибку. Прямо соблазн какой-то.

— Добро бы — ты один. Не от того ли наш мир становится все более фантастичным и все менее человеческим.

— Ладно, к чертям все это! Так на чем мы остановились?

— Ты не спеши чертей затруднять, им и так жарко. Мысль насчет перехода между двумя состояниями — удачная мысль, а вот котел — можно и к чертям. Может, и вправду, жизнь и смерть — это две стороны единого бытия определенного единства, называемого человеком.

— Погоди, как это человек — определенное единство? Только что мы говорили, что человек кончается там, где начинается его определение.

— Тогда мы говорили об определенных свойствах. А теперь — об определенном единстве неопределенных свойств.

— Это как?

— Если то общее, что характерно для человека и только для него, выразить через определенные свойства, получается бессмыслица, вроде “двуногого без перьев”, или предрассудок, вроде раизма. Чем определеннее свойство, тем менее оно оказывается признаком конкретного человека. Отсюда следует, что конкретная человеческая личность — это конкретное единство неопределенных свойств.

— По-твоему, человек лишен определенных свойств?

— Да нет! Просто ни одно из определенных свойств человека не является собственно человеческим. Например, есть у человека голова. Это определенное свойство?

— Определенное.

— Тогда попробуй определить единство, одним из элементов которого является наличие головы.

— А, понял! Определяя отдельные свойства, мы теряем определенность единства его носителя. Но, может быть, человек именно и отличается от прочей твари каким-то одним свойством, свойственным ему одному?

— Да если бы и существовало такое свойство, точное определение тотчас лишило бы его конкретной значимости. А с другой стороны, подчеркивание одного свойства, как собственно человеческого, лишает человечности все остальные человеческие свойства.

— Так в чем же все-таки отличие человека от не человека?

— Ни в чем.

— Так уж ни в чем?

— Если под “что” подразумевается определенное свойство, то никакое “что” не способно превратить не человека в человека.

— Значит, мы не можем отличить человека от не человека?

— Именно, что можем.

— Да каким же образом?

— Нам дана способность воспринимать определенность единства неопределенных свойств, воспринимать непосредственно, целиком, без предварительных операций анализа и синтеза.

— Откуда ты это знаешь?

— Именно благодаря попытке определить человека с помощью анализа и синтеза, в результате которой вышел не человек, а монстр, называемый средне-статистическим человеком.

— Может быть, и монстр, но только очень уж верно он выражает поведение массы.

— Конечно. Чем плотнее человеческая масса, тем точнее ее средне-статистическая модель, тем бесчеловечнее монстр-представитель. Ведь это же и есть тот коллективный недоумок, с которого мы начали. Глупость — это определенность поведения, дурак всегда знает, чего он хочет.

— Может быть, и так. Только бесчеловечность ассоциируется не столько с глупостью, сколько со злобой.

— И напрасно. Есть бесчеловечность и есть античеловечность — разные вещи. Злодейство — штука очень неопределенная и интересная, чему доказательством служит обязательный отрицательный герой художественных произведений.

— А знаешь, о чем свидетельствует появление отрицательного героя в нашей беседе?

— О чем?

— О том, что мы съехали на трепотню — вот о чем. И неудивительно. Твое определенное единство неопределенных свойств настолько же маловразумительно, насколько ходульно.

— Ходульно, говоришь? А скажите-ка, господин критик, что Вы делаете, когда видите на улице знакомое лицо?

— Перехожу на другую сторону.

— О! Да ты настоящий джентльмен, учтив и благороден. Ладно, сформулируем проще: какая твоя первая мысль, когда ты узнаешь человека?

— Пытаюсь вспомнить, как его зовут.

— А зачем?

— Чтобы обратиться к нему.

— А ты скажи просто: эй, ты, лысеющий брюнет с широко поставленными глазами и толстой нижней губой, — как и подобает джентльмену.

— Так определенное единство неопределенных свойств — это имя?

— Именно. Причем, даже не конкретное имя (Яша или Абраша — это ты мог и забыть), а вообще какое-то имя, но определенно связанное с этим конкретным человеком. Потому что человеческая личность определена не совокупностью свойств, а единством имени.

— Знаешь, что я вдруг вспомнил? “Тогда будет Господь один и

имя Его едино". Может быть, здесь выражено главное стремление человека? Быть совершенно самим собой, подобно Богу?

— Однако, мы отвлеклись. Все это никак не приблизило нас к объяснению того феномена, что внутреннее, духовное равновесие развито лишь у немногих.

— Развито не в равной степени — скажем так. И знаешь, ответ, кажется, тривиален: оно не развито, потому что его не развивают. Только вынужденное одиночество заставляет учиться быть свободным.

— Действительно, тривиально. Но ведь именно сейчас чувство одиночества становится чуть ли не всеобщим.

— Чувство одиночества, которое испытывает связанный большинством человек, — это страх одиночества, а не собственно одиночество.

— Откуда ты знаешь?

— Если ты притягиваешься к большинству — это страх одиночества. А если отталкиваешься от большинства — это собственно одиночество. Впрочем, и отталкивание становится все более пространенным.

— То есть у сравнительно многих появился шанс научиться быть свободным? А знаешь, на что это похоже? На положительный и отрицательный заряды.

— Очень может быть, что сходство глубже, чем кажется на первый взгляд.

— Да что ты? Я просто так вспомнил.

— А мне кажется, что тут есть некая онтология отношений целого и части. Что-то вроде: целое отталкивается от целого, а часть и целое взаимно притягиваются.

— Меня интересует взаимодействие человека и общества.

— А у меня опять приступ ассоциативного бреда из курса естественных наук.

— Ий камо бредеши теперь, недоучка несчастный?

— Брежу, что отношение целое—часть является онтологической основой явлений электричества, магнетизма и атомизма. И с ходу вижу несколько безумно подходящих примеров! Нет! Чур меня! Чур! Может быть, когда-нибудь в другой раз поговорим специально о фундаментальном тождестве природы и человеческого мышления. И тогда станет очевидно, что мы знаем все о мире заранее, а размышления и опыты только раскрывают это знание. Воистину: "Я сказал, вы боги..."

— Ну-ну, красавица, проснись, я это уже читал у Платона. Если и боги, то скорее, Олимпийские, т.е. глупые и склочные. Кстати, тебе когда-нибудь приходило в голову, что олимпийское спокойствие основано на способности забывать?

— Нет, не приходило. Но это верно. Единственный, кажется, пример олимпийской памяти — это беспокойная история Прометея.

— Так вот, я думаю, что память сильно отягчает и отношения между человеком и обществом.

— То есть?

— Личная память мешает человеку ощущать себя частью общества. И наоборот, личное беспамьять прикрепляет человека к обществу и его коллективной амнезии.

— По-твоему, общество лишено памяти?

— А у кого, по-твоему, есть память: у того, кто нуждается в напоминании, или у того, кто не нуждается?

— У того, кто не нуждается.

— Если бы у общества была память, зачем бы ему памятники и памятные дни? Общество подчиняет личность тем, что подменяет личную память коллективным напоминанием.

— Не отсюда ли аристократическое увлечение семейной генеалогией? Ведь это же основа противостояния общему. А с другой стороны — безродный национализм плебея. Ах, евреи, евреи: память — вот причина наших скитаний и мытарств. Мы не хотим отказаться от исключительности нашей памяти. Но как комично выглядит наша трагическая память, превратившись в напоминание обеспамятевшей массе!

— Пожалуйста, без театральщины. Что еще за монологи в зал? У нас здесь комната тихих игр. Послушай, ведь никакое общество, исключая, может быть, толпу, не является однородным. Всегда есть противоречия и трения. Разве это не проявления свободы?

— Стремление к свободе отталкивает от общества и его связей. А общественные трения возникают от того, что каждая часть хочет быть большей частью.

— Зачем?

— А зачем отдельные люди стремятся стать общественным большинством? Ослабление внутреннего напряжения влечет нас к массе, и оно же лишает нас нашей внутренней меры. Так люди начинают стремиться к общественному весу, который превышает возможности, отпущенные природой.

— Если я правильно понял, в небольших коллективах, при сво-

бодных отношениях, каждый заполняет свойственную ему часть. Но чем больше коллектив, тем случайнее (и нелепее) отношение между личностью и ее общественным весом. Так нет ли здесь искомого лекарства от коллективного слабоумия? Нужно просто разделиться на возможно малые группы.

— Очень просто! Так же просто, как разделить реку на капли — или собрать несколько горячих молекул за чашкой чая.

— Что, возвращаемся к котлу с водой?

— Нет, уж! В том-то и дело, что чем меньше человека в человеке, тем больше он похож на животное, насекомое или неодушевленный предмет. Собственно человек начинается только там, где кончаются всякие аналогии.

— А не кажется ли тебе, что ты подменяешь человека Богом?

— Ничуть. Я просто думаю, что Бог — это и есть человечность в чистом виде. Да и какой иной смысл можно сопоставить словам: "И сотворил Бог человека по образу Своему по образу Божию сотворил его".

— Слушай, вот мы, два еврея, можем говорить откровенно, скажи: Бог есть?

— По Закону, если два взрослых еврея утверждают, что Бог есть, значит, Бог есть.

— Поэтому никто не умеет лгать о Боге так вдохновенно и убедительно, как евреи. Убедили же мы гоев, что Иисус воскрес.

— Евреи не только прекрасные проповедники, но и замечательные страховые агенты. Если тебе представляют Бога, как страховую программу "Супер", можешь не верить.

— Где же истина?

— Прежде, чем сказать, где истина, спросим: какая истина и где ее нет?

— Истина о Боге. Так где же ее нет?

— Там, где нет Бога.

— Откуда же мне знать, где Он есть и где Его нет?

— Поэтому не гоняйся за истиной, местонахождения которой не знаешь, ибо ничего, кроме самообмана или отрицания, из этого не выйдет.

— Как же быть?

— Ищи истину об известном. Например, о себе самом. И если ты не способен найти истину в ближайшем источнике, кто поверит, что ты нашел ее в другом месте.

— А разве не может быть так, что во мне ее нет, а в другом

есть? К тому же существует традиция, утверждающая, что истина ей известна.

— С традицией случилось то же, что и с обществом: она стала слишком плотной, слишком инертной и почти бесчеловечной. Она, как Ной, упилась собственным вином, накрылась с головой своей священнической одеждой, и нагота ее оказалась жалкой и срамной. Излишне горячий младший сын сделает ее бездетной, а старшие покроют позор, сгорая от стыда.

— Не хочешь ли выступить с этим пророчеством во вратах дочери Сиона, то бишь в Меа Шеарим?

— Прошу прощения, но я не пророк и не сын пророка.

— Кто же ты?

— Вот это и я хочу выяснить. Это и есть прямой смысл понятия "истина". Истина вещи — это то, что она есть. А ложь о вещи — это когда ей приписывается то, чего в ней нет. То, что есть во мне собственно моего, — это и есть моя истина. А все не мое, что есть во мне, — это моя ложь.

— Ах, так вот почему запрещено прелюбодействовать, воровать и желать чужого! Присваивая чужое, я совершаю акт лжи! А как же ты отличаешь свое от не своего?

— В этом-то и трудность. Если хочешь, процесс познания только в том и состоит, чтобы отделить свойственное от привнесенного.

— Не знаю, как тебе, а мне это представляется непреодолимой задачей. Все границы настолько зыбки и ненадежны.

— Поэтому и не надо проводить границ.

— Как же ты хочешь разделять без границ?

— Граница — это компромисс между разделением и соединением, отсюда ее условность. Причем, условия всегда априорны и внешни. Без априорных внешних условий невозможно подвергнуть живую реальность мысленному анализу. А без предварительного анализа невозможен синтез. В результате синтеза возникает граница между отдельными свойствами объекта, и между этой синтетической границей и реальностью такая же разница, как между продуктом натуральным и синтетическим, а сходство чисто внешнее.

— А ты умеешь добывать не синтетическое знание?

— И ты умеешь. Скажу больше: тебе известны минимум шесть источников подлинного знания и ты ими непрерывно пользуешься.

— Интересно, какие?

— Пять внешних чувств и одно (минимум) внутреннее.

— Ну-ну, я надеялся, что ты придумаешь интересней. Этих твоих

источников подлинного знания нормальному человеку едва хватает. Без интеллектуального анализа и синтеза наше чувственное знание было бы набором примитивных рефлексов.

— Ты в этом уверен?

— Кто не уверен, пусть познакомится с трудами по моделированию умственной деятельности.

— Знаешь, на что это похоже? Как если бы тебя хотели узнать по фотографии. Узнать-то можно, но вся разница между живым человеком и его синтетическим изображением остается "за кадром". Однако, энтузиазм моделирования заводит еще дальше: выражение твоего лица пытаются свести к механизму отражения света и фотохимической реакции.

— А в глазу что, не так? Не фотохимическая реакция?

— А тебе не приходило в голову, что разделение между умом и чувством само искусственно?

— А почему ты думаешь, что оно искусственно?

— Если совершено преступление, то первый вопрос: кому и зачем это могло быть нужно?

— Вот, тут-то и нужна железная логика, т.е. моделирование.

— Правильно. Потому что преступление превращает живого человека в модель. Ведь всякое преступление — это преступление против человечности. Человек не может причинить ущерб другому человеку без того, чтобы, хотя бы на мгновение, не лишиться человеческого образа. В первом приближении, преступления делятся на совершенные с горячей головой и с холодной головой. В обоих случаях совершается разделение между умом и чувством: горячая голова — безумие, холодная голова — бесчувствие.

— Ты что же, приравниваешь синтетическую деятельность ума к преступлению против человечности?

— Синтетическая деятельность ума не преступление, а его следствие, точнее, следствие разрушения единства ума и чувства, свойственного человеческой природе.

— Состояние после грехопадения?

— Миф о грехопадении действительно описывает этот феномен с поразительной точностью и наглядностью. К сожалению, его уже так истрепали, что прикасаться к нему стало опасно, т.е. для него, разумеется. Поэтому скажем так: синтетическая деятельность ума — это человеческая реакция на бесчеловечные условия существования.

— Так значит, условная истина логики — это условность челове-

ческого существования? Но ведь условность существования — это и есть рабство! Может быть, архетипом разделения человеческого общества на сильных и слабых, великих и ничтожных, богатых и бедных, правителей и управляемых является разделение между человеческим умом и человеческим чувством?

— Во всяком случае, единство ума и чувства дает человеку безусловное знание самого себя, а вслед за этим и окружающего мира. И обладатель такого знания уже не может быть ни рабом, ни преступником против человечности.

— Да... Звучит здорово. А вдруг все это "сон в летнюю ночь"? Как-то неубедительно все это.

— А зачем убеждать? Для убеждения нужно именно условное синтетическое знание. Я просто старался показать тебе то, на что ты, может быть, не обращал внимания. Безусловное знание — это знание наглядное.

— Да в чем оно состоит, безусловное знание?

— В том, что нас изумляет. По-моему, изумление и есть высшая умственная способность. Скажи, как ты понимаешь слова: "И увидел Бог, что добро"? (Перевод "это хорошо" не точен.)

— Понравилось Ему то, что получилось.

— А не слышится ли тебе здесь возглас изумления, что-то вроде "ай, да Пушкин!?" Или, может быть, это больше похоже на заключение приемной комиссии, что строительство совершено согласно плану и стандартам?

— Нет, скорее, "ай, да Пушкин!"

— А не удивляет ли тебя, что слово "добро" употреблено без всякого морального контекста?

— Ну, уж без всякого? Ведь не для себя творил, а для других.

— А по-твоему, тот, кто делает для другого, тотчас сам и объявляет, что это — добро?

— Там и не сказано, что объявил, а сказано, что увидел. Впрочем, моральную оценку действительно следует услышать от другого.

— А чем завершается сотворение мира?

— Сотворением человека, конечно.

— Нет, дорогой. Оно завершается возгласом высшего изумления: "и вот, весьма добро!" Это и есть, по-моему, венец творения. Так что, пока не дойдет человек до высшей степени изумления, далеко ему до богоподобия, да и до добра далеко. Потому что добро нужно уметь видеть.

— Это ты ловко подвел, ничего не скажешь. Если я правильно

понял, только единство ума и чувства позволяет видеть "весьма добро". А что же тогда зло?

— Все остальное. Это как с равновесием, оно либо есть, либо его нет, и тогда начинается беспорядочное вращение вокруг оси или падение, когда и оси нет.

— Значит, равновесие — условие безусловного знания?

— Зачем условие? Безусловное знание — это внутреннее равновесие и внутреннее равновесие — это безусловное знание.

— Вот и талмудисты утверждают, что их знание безусловно.

— Талмудисты, материалисты, экзистенциалисты — не в том дело. Безусловное знание — это человеческое знание. А человек должен прежде всего быть человеком, т.е. свободен и добр. Человек хранит свою меру, свое внутреннее равновесие и не стремится быть не таким, каков он есть, т.е. не уподобляется никакому очередному общественному стандарту. Человек уважает свободу другого человека (хотя бы и врага) быть самим собой. И еще ненавидит ложь во всех ее проявлениях.

— Вот, ты говоришь о свободе быть самим собой. Но ведь это — то самое самоопределение, которое ты назвал бесчеловечным.

— Да нет же. Свобода быть самим собой исключает самоопределение. Самовыражение — вот, пожалуй, подходящее слово.

-- Да в чем разница-то?

— Все, что человек делает, похоже на него самого, хочет он этого или не хочет. Но если мы заранее решаем, какого рода деятельность нам подходит и каких результатов мы от нее ждем, получается сходство карикатурное. К примеру, решили евреи построить себе государство. Прекрасно! Какое же государство могут построить евреи, если не еврейское? Но когда евреи говорят: будем строить не просто государство, а е в р е й с к о е государство, — то и выходит нечто с крючковатым носом и отвислой губой.

— А! Разница между культурой национальной и националистической. Выходит, мы уже решили, кто он — еврей, остались только мелкие уточнения? Значит, "наши планы ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи!"?

— Смейся, смейся, как бы после плакать не пришлось.

— А знаешь, что смешнее всего? Твой идеальный человек, свободный, добрый лжененавистник. Неужели можно всерьез говорить об отделении правды от лжи?

— Можешь смеяться, но я занимаюсь этим всю жизнь.

— И много правды накопил?

- Ни крошки.
  - Ну, вот!
  - Ты любишь орехи?
  - Люблю.
  - Часто их ешь?
  - Часто.
  - И сколько накопил?
  - А я, между прочим, их есть люблю, а не копить.
  - Вот и я всю свою правду съедаю, а всю скорлупу выкидываю.
- А сейчас у меня уже язык болит. Так что — не взыщи. И до приятного свидания.

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHARDE LTD

Новые книги

**МИХАИЛ ГЕЛЛЕР и АЛЕКСАНДР НЕКРИЧ. УТОПИЯ У ВЛАСТИ  
(ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С 1917 ГОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ)**

Издание второе, исправленное и дополненное

"История Советского Союза — это история превращения России, страны, не лучше и не хуже других, со своими особенностями, но сравнимой во всех отношениях с другими европейскими государствами, в СССР — явление, неизвестное ранее человечеству... Последствия Октябрьского переворота ощутил — и ощущает — весь мир".

926 стр.

16 ф. ст.

**ВИКТОР СУВОРОВ. РАССКАЗЫ ОСВОБОДИТЕЛЯ**

Это лишь во вторую очередь книга об армейской жизни, а прежде всего это описание советской жизни, советской системы. Это книга о временах Брежнева, но она остается злободневной и во времена Горбачева: все тот же "порядок" царит в советской армии и в Советском Союзе.

260 стр.

7,5 ф. ст.

**КИРИЛЛ ПОМЕРАНЦЕВ. СКВОЗЬ СМЕРТЬ  
(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ Б. ФИЛИПPOBA)**

"Воспоминания Кирилла Померанцева являются нужным дополнением к монументальной "апологии эмиграции" Романа Гуля — "Я унес Россию" и к истории русской культуры последних шести десятилетий. Сколько в ней хорошо написанных портретов", — пишет автор вступительной статьи. Среди других интереснейшие очерки, озаглавленные: Марк Шагал, Борис Суварин, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Евгения Рапп.

192 стр.

4 ф. ст.

Заказы принимаются в издательстве OPI, 8 Quilln Anne's Gsrdens, London YNITU, в книжном деле A. Neimanis (Bauerstr. 18, 8000 Munchen, 40) и во всех русских книжных магазинах.

## ЛЮДИ И КНИГИ

Александр Либин

### САМО ДОСТАТОЧНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ

(эссе ближневосточного дилетанта)

*"You don't dissect a bird to find the origins its song.  
What shold be dissected is your ear".*

*Joseph Brodsky*

*("Не стоит резать птицу, дабы добраться до  
истоков песни. Взрезать нужно ваше ухо".*

*И. Бродский)*

"Ты спрашиваешь, какая цель Цыганов? Вот на! Цель поэзии — поэзия", — так говорит Дельвиг (если не украл это).

" "Думы" Рылеева и целят, а все невпопад", — отвечал в 1825 году Пушкин Жуковскому.

Пушкину решительно не повезло. Уж если Жуковский не мог согласиться с идеей самоценности поэзии (интересно, какова цель рассказа о том, как в крещенский вечерок девушки гадали, — ведь так и неясно, стоило ли выставлять башмачок на ночь за ворота...), то чего было ожидать от тотально социологизированной критики XIX века и вдохновлявшихся ею творцов. Самым последовательным и честным из них был Дмитрий Иванович Писарев, человек несомненно утонченного художественного вкуса. Вот он и провозгласил, что пользы от шашней Евгения Онегина с Татьяной Лариной никому никакой не было и нет. В чем был абсолютно прав. И Пушкин бы с ним в этом согласился, да вот Бог его прибрал до времени по бесцельной аристократической прихоти...

Вопреки неустанным словесным опровержениям, дело Писарева живет. Вот уже почти два века над континентом русской литературы и архипелагом литературной критики, с легкостью преодолевая государственные границы, географические рубежи и партийные перегородки, проносятся объединяющий страждущих читателей и разгоряченных писателей основополагающий эстетический клич: "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству".

В соответствии с требованиями места и времени появляются и вариации социального заказа литературе:

- срывание всех и всяческих масок;
- нанесение удара по пилатчине;
- нравственное совершенствование народа;
- художественное утверждение советской власти;
- художественное ниспровержение советской власти;
- художественное установление исторической истины;
- художественное опровержение исторической лжи...

Вариации эти нескончаемы, чем демонстрируется диалектический принцип единства в многообразии, ибо все они начинаются со слов: "Литерату-

ра должна...". Стоит появиться на свет книге, увлекающей, по неясным причинам, читателя, как немедленно возникает рой толкователей, объясняющих ценность книги выполнением одного из вариантов социального заказа.

Но если иногда и появляются еретики (вроде А. С. Пушкина), заикающиеся о бесцельности литературы, то уж, вроде, нет разнобоя во мнениях относительно ее о б ъ е к т а . Им, по изящному выражению советского теоретика И. Ф. Бэлзы (позаимствованному у Вячеслава Иванова), является *realia*.

Захватывающая дух смелость (или даже наглость) рецензируемой книги<sup>1</sup> состоит в покушении на основы общественного порядка, — в виде утверждения, согласно которому объектом литературы в XX веке стала вовсе не *realia* советской или антисоветской жизни, а — литература века XIX-го.

За двадцать лет, прошедшие со времени появления "Мастера и Маргариты" на страницах журнала "Москва", появилась несметная тьма статей монографического объема, разъясняющих читателю-недоумку, что автор романа художественными средствами выразил философские, богословские, политические, идеологические, этические и эстетические концепции автора соответствующего критического опуса. Пишущий эти строки должен признаться, что отчасти он со всем с этим согласен. Некая неуютность преследует его уже двадцать лет. Ясно, что Булгаков хотел сказать что-то вне-литературное, да вот оказалось, что он — литератор... Не он первый... Зато у толкователей внелитературных задач сколько угодно, и роман в их умелых руках становится манифестом, ибо "литература должна..."

Своего апогея прикладной подход к роману несомненно достиг в основополагающем труде И. Ф. Бэлзы<sup>2</sup>, доведшем Каганскую и Бар-Селлу до высшей степени творческого экстаза — до написания собственной книги.

Согласно Бэлзе, Булгаков, истомленный чтением православных богословов, дошел собственным умом до гностицизма и неясным путем попал под влияние богомилов (если кто о них что-либо знает...). Правда, судя по всему, сведения самого Бэлзы об этом предмете исчерпываются двадцатью строками статьи "Богомилы" в пятом томе второго издания БСЭ, включая ссылку на книгу, вышедшую в Софии в 1947 году на болгарском языке. Остается непонятным только, кто же читал эту книгу: то ли Булгаков, то ли его великий манихейский предшественник Данте, также, согласно Бэлзе, испытавший на себе влияние богомилов. Мы, со своей стороны, могли бы лишь упрекнуть И. Ф. Бэлзу в недооценке павликианцев в дальнейшей разработке богомильской догмы.

Зато цель И. Ф. Бэлзы прозрачна и ясна: через богомилов-болгар-славянскифов — к Булгакову. Тем самым создается исконно-скифско-русское, без всяких иудейских примесей, манихейское Евангелие. И в нем все как надо: Источник зла-Источник блага-Этический законодатель-Воланд-

1) М. Каганская, З. Бар-Селла. "Мастер Гамбс и Маргарита". Изд-во "Москва-Иерусалим", Тель-Авив, 1984.

2) И. Ф. Бэлза. "Генеалогия "Мастера и Маргариты". — "Контекст-78", М., 1978.

Люцифер-Сталин наводит в мире порядок и защищает Га Ноцри-Мастера-Булгакова от происков евреев. Правда, с переменным успехом...

Причем И. Ф. Бэлза абсолютно серьезен. Особенно в вопросах демонологии. Пишущего эти строки от чтения опуса И. Ф. Бэлзы охватывает остропь. Не каждый день в советском издании можно прочесть серьезный демонологический трактат. Бэлза пишет не о литературных образах и не о литературных героях. Ему не до шуток. Люцифер — субъект серьезный. И правда, если он воплотился в Сталина, то никому уже шутить не захочется, а про литературу придется забыть...

Заодно, Булгаков у Бэлзы — огнепоклонник и селенофил.

Ну, насчет пожаров у Булгакова сходятся с Бэлзой и ортодоксальные толкователи. В самом деле, что за Евангелие без апокалиптического пожара в качестве послесловия!

На все это Каганская и Бар-Селла отвечают кратким молотовским "Нет". Пожар не мировой, а скотопригоньевский. См. "Бесы" Ф. М. Достоевского, 1873 года издания.

И герой, утверждают далее наши авторы, не евангелический, а представленный нам за три года до того тем же автором, Ф. М. Достоевским. Князь Мышкин, просим познакомиться. А главный собеседник героя, по имени Иван, — это уже из третьего романа Ф. М. Достоевского, "Братья Карамазовы", где он уже искал однажды дьявола как свидетеля убийства, а заодно рассказывал истории из жизни Иисуса Христа. Так что грузите апельсины бочками...

Что же касается дьявола, то он, по Каганской и Бар-Селле, не библейский, а оперный. Мефистофель из двух опер под названием "Фауст". Из этих двух Булгаков, кажется, особо любил оперу Гуно. Более того, Воланд — этот режиссер и постановщик (махнул рукой, и Город потух) — не кто иной, как В. Э. Мейерхольд. Оба ставят сцену бала. Сцена заимствована из пьесы "Дама с камелиями" Дюма-сына. Главная героиня — Маргарита Готье. Она же — главная героиня романа Булгакова (хотя и под другим именем). Здесь попросту перевернута ситуация "Фауста", — не Мастер (Фауст), а Маргарита заключает договор с дьяволом и сама становится ведьмой. И даже если она делает это во имя любви к Мастеру, на этом история любви кончается, и начинается история ведьмы. Гетевская Гретхен не ходила бы голой при всех даже заради доктора. Так что и любовь в романе пахнет литературой. Но на Маргарите Готье связи Булгакова с семейством Дюма не кончаются. Свита Воланда суть три мушкетера на булгаковском карнавальном спектакле. Постановка Вольанда-Ришелье.

Вскрытие театрально-литературного цитирования как текстологической основы романа Булгакова было начато в замечательных работах М. Чудаковой<sup>3</sup>, доказавшей прямую зависимость текста от "Бесов", и Б. Гаспарова<sup>4</sup>, обнаружившего совершенно невероятные порой ряды литературных ассоциаций и аллюзий.

---

3) М. О. Чудакова. "Записки Отдела рукописей Гос. Библиотеки имени Ленина", в. 37, М., 1976.

4) Б. М. Гаспаров. См. "Slavica Hierosolymitana", V, III, Иерусалим, 1978.

Следуя им, Каганская и Бар-Селла показывают, что Га-Ноцри у Булгакова цитирует Пушкина и Чехова, а Достоевский входит в роман целостной конструкцией, поддерживающей как московские, так и иерусалимские главы.

Итак, театр и литература, Достоевский с двумя Дюма и Мейерхольд с Маяковским (которого, согласно Гаспарову, цитируют Понтий Пилат и поэт Рюхин), а никак не Евангелия и не Апокалипсис образуют фактурную основу романа. Ну, а как же с обличением властей? Ведь есть же сатира на "них", на "подсоветскую жизнь"!!

Вроде как есть... Да только поражает она, как патроны Бегемота пришедших его ловить гепеушников. По справедливому замечанию авторов, в романе, "начавшемся в тени зеленеющих лип", и "гепеушники несколько липоватые". Видно, не пил Булгаков из реки по имени Факт... А насчет того, что людей сажают и они исчезают, писали, как выясняется, и вполне подцензурные и печатаемые авторы той эпохи...

И все-таки есть в романе и политическая геалиа того времени. И тут прав Бэлза. Она проявляется в наличии образа товарища Сталина. Уж геалиа, так геалиа... Соображение о том, что Воланд — это Сталин, давно приходило на ум и автору этих строк, как и многим другим. Каганская и Бар-Селла доказывают это наличием прямого цитирования Воландом изречений Сталина. Одновременно они показывают тождественность анкетных параметров трех основных героев романа — Воланда, Га-Ноцри и Мастера. И тут у читателя начинает кружиться голова...

Если Воланд-Мейерхольд и Воланд-Сталин, то, как пишут Каганская и Бар-Селла, необходимо признать Сталина гениальным творцом. Мы, ясное дело, так не считаем. И это делает нам честь. Но Булгаков, Пастернак, Мейерхольд, быть может, с нами бы не согласились, и это им чести не делает. Но, с другой стороны, мы-то сами не Мейерхольд, а других Мейерхольда, Пастернака и Булгакова у нас нет. Приходится работать с тем, что есть.

Дальше — хуже. Если Воланд-Сталин и Воланд-Га-Ноцри, то стало быть Сталин-Га-Ноцри! И авторы находят тому прямые доказательства — в пьесе Булгакова "Батум".

Пьеса, носившая вплоть до представления ее в Репертком название "Пастыр", "не прошла" из-за евангельской сцены избития Сталина-Христа царскими жандармами. Товарищ Сталин потребовал эту сцену убрать. Но автор не согласился! Суровые критики книги Каганской и Бар-Селлы называют их ссылку на пьесу "Батум" бесчестной, ибо "писатель спасал свою жизнь". Интересно, слышал ли кто-либо о другом писателе, отвергшем мнение товарища Сталина о том... как изображать товарища Сталина? Если таковой писатель нашелся, стало быть жизнью своей он не слишком-то дорожил! И созданный им образ товарища Сталина был ему дороже благоклонности реального товарища Сталина и даже самой жизни! Видно, строку диктовало чувство...

И не стоит так гнаться на авторов. Ведь и Мандельштам писал оды Сталину. По словам его вдовы, он сказал, что "это была болезнь". Но оды сохранил. Ибо бред больного отнюдь не бессодержателен. И Пастернак отметил на верстке 1957 года, что стихи, опубликованные в 1936 году в "Зна-

мени", "обо мне и о Сталине"<sup>5</sup>. И Мейерхольд собирался в 1935 году посвятить Сталину постановку "Клопа".

Никто не обязан принимать мнения гениев. Тем более мнения бредовые. Но никто и не вправе заставлять покойников петь под нашу дуду, только потому, что нам нужны их имена в подкрепление к нашей всеведущей немощи. Это никому чести не делает.

Что ж, стало быть, прав Бэла, и Булгаков утверждает величие Сталина художественными средствами? Нет. Ибо это литература, а не протокол заседания Политбюро. Вместе с Достоевским, Маяковским и Мейерхольдом, Сталин не мифологизирован в романе-мифе, а спародирован в романе-пародии. Ровно по той же причине пародией является и ниспровержение властей. И "мощная антисоветская энергия романа добывается его поклонниками, в основном, из собственных убеждений и побуждений".

Ну, а как с мистицизмом, гностицизмом, богомильством, новозаветной этикой и прочими атрибутами трансцендентальной философии, за которую в наши дни сходит прикладное богословие домашнего изготовления? Здесь мы приходим к самому замечательному открытию (или переоткрытию) авторов книги. Речь идет об антропософии, точнее об антропософской лексике и семантике, без которых, видимо, нельзя понять не только русскую литературу и критику первой трети XX века, но и идеологию с политикой... И прежде всего — писания того же товарища Сталина... Авторы убедительно показывают, что мистика и дьяволиада у Булгакова суть пародирование антропософии, а не проявление глубинных гностически-манихейски-зороастрийских или ортодоксально-православно-евангелических помыслов романиста.

Более того. Оказывается, создатель антропософии доктор Рудольф Штейнер давно уже придумал этот роман. В 1912 году в Мюнхене он прочел курс из пяти лекций под названием "Пятое Евангелие". Поведал миру об этом в 1929 году его верный ученик — А. Белый: "Источник потрясения — факты биографии Иисуса... вдвинута биография в XX век, став нашей; сдвинут XX век в первый, чтобы наши сознания из ПЕРВОГО ВЕКА увидели события Палестинские".

Но даже и доктор Штейнер — не первый, кто придумал все это. Схема и фактурная основа романа предложена, как выяснили Каганская и Барселла, в 1888 году профессором Фридрихом Ницше в книге "Антихристианин": "Можно пожалеть, что вблизи этого интереснейшего декадента (то бишь Иисуса Христа. — А. Л.) не жил какой-нибудь Достоевский, то есть кто-нибудь, кто умел бы ощутить захватывающую прелесть такой смеси возвышенного, больного и детского".

Итак, профессор Ницше призывает переписать евангельский рассказ, основываясь не на первоисточнике, а на романе Достоевского. И Булгаков сему призыву следует... Что обидно до слез как поклонникам Булгакова-ортодокса, так и пытливым искателям евгенически чистого скифского Откровения. Их можно успокоить: цитата не есть доказательство (хотя уж слишком все в этом толковании сходится). Суммируем все, сказанное авторами: Булгаков создал новый жанр, заменив н о р м а л ь н у ю

5) Л. Флейшман. "Пастернак в 30-е годы", Иерусалим, 1984.

realia романа (коллективный либо индивидуальный внелитературный опыт) — литературной realia. А художественную переработку этой realia — в литературу второго порядка — совершил театральными методами. Подобного рода жанр известен автору этих строк (дилетанту, как указано выше) только по одной театральной постановке: "Мистерия-буфф", В. В. Маяковский. Боже упаси, мы не собираемся сравнивать литературные качества этих произведений... Но жанрово они, увы, схожи... Хотя никак нельзя утверждать, что Булгаков был с оной мистерией знаком. Постановлена она была в первый раз в 1918 году в Петрограде. Постановщик — Всеволод Мейерхольд. Художник — Казимир Малевич. Булгаков был тогда еще в Киеве, видеть "Мистерию" он не мог. А читал ли он ее, мы не знаем. А если и читал, то неизвестно, произвела ли она на него особо сильное впечатление. Скорее наоборот. Но Булгаков, как и Маяковский, жил в эпоху мировой катастрофы. И культурная семантика и "джентльменский" литературный набор у них были общие. Быть может, с противоположными знаками. Но это, как выясняется, для литературы не так уж важно... Быть может, роман есть месье Маяковскому, включившему в "Клопе" слово "Булгаков" в список мертвых слов будущего 1979 года...

Ну, а мораль?.. Плохо с ней. Ну, трусость, как самый страшный из всех пороков. Прямо-таки вытяжка из указующего перста... А метафизика? Почти нет. Кроме "метафоры стоячего времени и стоячего пространства", как пишут Каганская и Бар-Селла.

Во всем этом мы, однако, не видим никаких причин для читательского уныния. Булгаков написал замечательную книгу, которая доступна всем и читается каждый раз запоем. Для этого книги и пишутся... И больше ни для чего...

Наверно, если бы дело состояло только в историко-литературной интерпретации булгаковского романа, критика и читатели отнеслись бы к книге Каганской и Бар-Селлы куда спокойней. Немедленное возмущение, переходящее в ярость, вызывает утверждение авторов, что Булгаков был не одинок. И что практически параллельно с ним, в той же Москве, два известных негодяя написали нечто жанрово схожее. Опубликовано в Советском Союзе за тридцать пять лет до "Мастера и Маргариты". И размноженное в миллионах экземпляров. И текстуально знакомое читателю много лучше "Евгения Онегина", не говоря уже о "Бесах".

Каганская и Бар-Селла утверждают, что "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" тоже суть пародии на русскую литературу XIX века (вместе с ее антропософией). Что в них тоже есть театр, космический миф и дьяволиада, и даже общие с булгаковским романом сюжетно-фабульные ходы.

Такого, кричат возмущенные критики, простить нельзя. Нельзя сравнивать диссидентское антисоветское Евангелие великого писателя-жертвы тирании с балаганным издевательством над истребляемой русской интеллигенцией от руки двух коллаборационистов, восславивших лагерь Беломоро-Балтийского канала.

Здесь следовало бы умерить страсти. И отделить литературу от жизни. Франсуа Вийон, например, был убийцей. К счастью, уголовное дело не сохранилось в архивах, и мы можем спокойно читать стихи.

Итак, о жанре. То, что Остап непрерывно цитирует Пушкина, Лермонтова и Толстого, видно невооруженным глазом. Достижением авторов является выявление того, что в "Золотом тельенке" почти тотально цитируется Достоевский. Некогда автор этих строк, прочтя "Двенадцать стульев" в первый раз в двенадцатилетнем возрасте, ощутил в конце романа некое неудобство. Скачок из цирка в трагедию был непонятен. Теперь Каганская и Бар-Селла текстуально показали, что здесь имеет место цитирование сцены самоубийства Свидригайлова. Снова Ф. М. Достоевский.

Пожар "Вороньей слободки" есть тоже "скотопригоньевский миф". Его описание мало напоминает нормальный пожар, зато почти дословно совпадает с булгаковским описанием пожара на 302-бис, что по Садовой улице.

Обитатели "Вороньей слободки" суть трансформированные герои "Бесов". Прежде всего многострадальный Васисуалий Лоханкин. Это не кто иной, как Верховенский-старший. Просим любить и жаловать. А пятистопным ямбом и вздохами о роли интеллигенции в революции пародируется поэт Александр Блок, автор несколько темной статьи на ту же тему. Кстати, убийство гуся Паниковским есть пародия на известный рассказ Бабе-ля.

Перемещение действия в пустыню связано не с пристрастием к стройкам первой пятилетки, а с названием романа. Золотому тельцу поклонялись в пустыне. И пустыня в романе — библейская. Недаром в романе противопоставляются два онтологических мифа. "Рассказ об Адаме и Еве" господина Гейнриха утверждает вечность жизни, то есть наличие времени. А "Рассказ о Вечном Жиде" есть не только агитка за советскую власть, решившую еврейский вопрос. Убийство Вечного Жида — это конец времен. Апокалипсис.

Но постойте! Постойте! Такое переплетение этих именно тем — Ветхий Завет, евреи, Апокалипсис, революция — уже встречалось в русской литературе, встречалось именно там и тогда, где она жанрово и хронологически кончалась — у Вас. Вас. Розанова, автора "Апокалипсиса нашего времени" (1918) и ряда других открытий.

А теперь, как говорят наши авторы, бьем прямой цитатой из Розанова: "И будь, жид, горяч. О, как Розанов — и не засыпай, и не холодей веч-но. Если ты задремлешь — мир умрет. Мир жив и даже не сонен, пока еврей "все одним глазком смотрит на мир. — А почему нынче овес?"

Итак, одна из самых расхожих цитат "Золотого тельенка" обернулась цитатой из Розанова. Но кроме того, эта сцена смыкается с бендеровским Апокалипсисом. Вечный Жид умер — стало быть, умер мир. Времени больше нет. Иерусалим вдвинут в Москву. Как у Булгакова. Заодно и имя героя — Васисуалий — является аллитерацией имени пародируемого писателя — Розанов Василь Васильич.

Театр был и в "Двенадцати стульях". Современники немедленно признали в нем театр Мейерхольда. В ильфонетровском театре ставят "Женитьбу" в то же время, когда Мейерхольд ставил "Ревизора". Это уже почти *realia*, которой у Ильфа и Петрова вообще, на первый взгляд, много больше, нежели у Булгакова.

Больше, но ненамного. Впрочем, главная *realia* того времени присутствует и тут. И. В. Сталин. Кремлевский горец. Снова в виде дьявола. Один из бесов, населяющих Воронью слободку. "Злой, как черт", бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока "с дьявольскими глазами" — Гигиенишвили. То есть любитель гигиены-чистоты. Для достижения которой необходимо проводить перманентные чистки. Товарищ Сталин не процитирован в "Золотом теленке". Вместо этого Остап покупает машинку с "турецким акцентом". Эта пишущая машинка приплыла из "Записных книжек" Ильфа, где у нее налицо "к а в к а э с к и й акцент". К 1931 году почти все голося в Советской России притихли. Явственно слышался один только Голос. С кавказским акцентом. Легенда о днях революционной юности товарища Сталина, проведенных в городе Батуме (ныне Батуми), уже получила широкое распространение. А Батум находился (и находится) на самой границе с Турцией. В те времена в нем жило немало турок.

Получается, что писатель-диссидент М. А. Булгаков создал куда более романтический образ товарища Сталина в своих записках из подполья, нежели писатели-конформисты И. Ильф и Е. Петров в официально одобренной пропагандистской псевдосатире. Что поделаешь... Бывает... Так, не прошло и года со времени самоубийства трубадура сатанинской власти В. В. Маяковского, как его друг и будущий святой мученик Б. Л. Пастернак решил, что, пока он жив и не моща, предпочтительней, в надежде славы и добра, смотреть на вещи без боязни.

Ну, а дьяволиады Каганская и Бар-Селла нашли в обеих книгах сколько угодно. То, что Остап — изгой и разочарованный скептик, читатель понимает и сам. Выявленное в рецензируемой книге сплошное цитирование Лермонтова позволяет идентифицировать его с Демоном. Последний, у Лермонтова, никаким всемогуществом не отличается и символизирует лишь бессмертное изгойство. Коллега Вечного Жида. Свита Бендера сильно напоминает свиту Воланда. Воробьяников-Киса. Он же Бегемот. А Адам Козлевич-козел отпущения—"азазел" на иврите-Азазелло у Булгакова. И, наконец, жонглируя числами 5 и 7, Каганская и Бар-Селла доказывают родство с нечистой силой слесаря Полесова. Разумеется, все это вызывает бурные возражения критиков, как почти все, что касается Ильфа и Петрова. И, возможно, критики местами правы. В книге Каганской и Бар-Селлы есть немало мест, которые и пишущему эти строки кажутся натяжкой. Однако, в большинстве случаев речь идет о приложении мистической арифметики Б. Гаспарова не к "Мастеру и Маргарите", а к двум романам Ильфа и Петрова. Насколько нам известно, методология Б. Гаспарова не вызвала за восемь лет со времени опубликования его статьи столь бурной реакции. Может быть потому, что она была опубликована в столь солидном издании как "Slavica Hierosolymotana". Но, скорее всего, дело в ином. В романе Булгакова а priori толкователи находят все. Прямо как у Нострадамуса. Булгаков у них досконально знаком с мировой литературой, теологией и натурфилософией от Ромула до наших дней. Усомниться в этом подобно святотатству. Но согласиться с тем, что Ильф и Петров способны на те же фокусы литературной мистификации? Это, по мнению критиков, профанация. Это как в душу читателю плюнуть.

Увы, литература не включает в себя ни личное, ни уголовное дело пи-

сателя. Литература, как точно выразились Каганская и Бар-Селла, является способом существования литературных текстов. Текст, а не послужной список автора, является объектом изучения. И прежде всего чтения. А также — источником новых текстов. Заслугой авторов рецензируемой книги явилась способность преодолеть барьер предубеждения и подойти к текстам “Двенадцати стульев” и “Золотого тельца” с инструментальным аппаратом, с успехом использованным на тексте “Мастера и Маргариты”. И результаты оказались потрясающими. Почти все, что пошло на постройку здания булгаковского романа, использовано в том или ином виде Ильфом и Петровым. Даже антропософия. Насмешка над ней зашифрована в ребусах дедушки Зоси Синицкой. И в самой Зосе. И в афише о прибытии Иоканаана Марусидзе. И, разумеется, в визите Остапа к индийскому философу, пропевшему “Марш Буденного”. Желающие могут вспомнить “Телом в Калькутте. Душой с вами” и т. д. из “Театрального романа”.

Пройдет, надо полагать, немало лет, пока еретический подход авторов книги “Мастер Гамбс и Маргарита” потихоньку превратится в конвенциональный. Их открытия и догадки постепенно будут разворованы на диссертации и монографии. Самим авторам, увы, навару с этого никакого не предвидится.

Один из немногих ободряющих авторов звуков раздался, как это ни странно, из Москвы. Автор письма, известный советский критик и литературовед, выразил уверенность, что замысел вывезен из Советского Союза, и восклицает: “Но где же, все-таки, тамошняя мысль? По рождению, генетически тамошняя”?

Здесь пишущий эти строки должен в первый раз на протяжении столь длинного эссе заявить личное, категорическое “Нет”. Подобную книгу нельзя было написать, не отдалившись и не имея возможности взглянуть на русский литературный процесс со стороны. Ее нельзя было написать, находясь в буче, боевой и кипучей. Советской или антисоветской. Не только в Москве, но и в Париже или Нью-Йорке. Иерусалим и холмы Иудейской пустыни, их воздух, свет и цвет стали новым началом отсчета и источником новой перспективы. К тому же, “арфой звучит ураган аравийский. Бессмертья, быть может, последний залог”...

## ЧТО ТАКОЕ "НАУЧНЫЙ СОЦИАЛИЗМ"?

*Поверьте мне: судьбою несть  
Даны нам тяжкие вериги.  
Скажите, каково прочесть  
Весь этот вздор, все эти книги —  
И все зачем? чтоб вам сказать,  
Что их не надобно читать!*

В споре чаще всего рождается не истина, а склока. Обычные причины: 1) спорящие называют одним и тем же словом разные вещи или разными словами одну и ту же вещь; 2) подобно персонажам гейневского "Диспута" каждый из них строит свою аргументацию, опираясь на авторитеты, не имеющие никакого веса в глазах оппонента. Споры о социализме и марксизме-ленинизме развиваются, как правило, по таким схемам, и это важная причина, почему внутренне противоречивая теория, полностью обанкротившаяся при всех попытках воплотить ее в жизнь, до сих пор "свободно мир чарует, законов всех она сильнее". Сила эмпирических опровержений ограничена так же, как и сила эмпирических доказательств, и те, кто "ни при какой погоде (...) этих книг, конечно, не читал", верят, будто в многотомных собраниях сочинений "основоположников" теория "научного социализма" и впрямь строго обоснована.

Ценнейшая особенность вышедшего вторым дополненным изданием капитального труда Доры Штурман\* в том, что "научный" социализм Маркса—Ленина здесь опровергается изнутри.

Чтобы выявить, что может в принципе дать "научный социализм", автор исследует идеализированную модель, построенную на предпосылках, принятых Марксом, Энгельсом и Лениным.

В первой части ("Великолепная теория") рассматриваются центральные вопросы теории: классы, ликвидация классов и частной собственности на средства производства, диктатура пролетариата как инструмент построения бесклассового общества.

Понятие "класс" марксисты определяют двояко. В работах для массового читателя классовые различия — это различие между богатыми и бедными, в более серьезных — различие в праве собственности на средства производства. Определения не согласованы: большинство собственников средств производства — мелкие ремесленники и крестьяне — люди совсем небогатые.

Согласно марксизму (историческому материализму) разделение общества на классы порождено разделением труда, обусловленным технологией, уровнем производства. Следовательно — опять-таки согласно марксизму — уничтожение классов возможно только при исчезновении разделения труда (см. например "Анти-Дюринг"). Но положения, когда "все все умеют" не

---

\* Д. Штурман. "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат". Иерусалим. 1986.

было, строго говоря, даже при первобытно-общинном строе. "Первым разделением труда было разделение труда между мужчиной и женщиной при производстве детей" (Маркс). Вся история производства — специализация, появление новых функций, многие из которых требуют все более высокой квалификации. Статистика показывает явную тенденцию уменьшения численности рабочих и стремительный рост численности "белых воротничков". Призывая в таких условиях насильственно вернуть общество к самым архаическим формам собственности, Маркс и Энгельс полностью порвали с основами своего же учения. А их учение о капиталистической эксплуатации в корне подрывается тем, что капиталист, "присваивающий" прибавочную стоимость, не потребляет ее сам, но почти всю вкладывает в производство. Этот факт Маркс, Энгельс и их последователи просто замалчивают.

Признавая производство материальной основой общества, марксизм должен признать, что диктатура есть неограниченная власть прежде всего над производством. Но производство не существует без занятых в нем людей, которые таким образом выступают еще и в роли средства производства наряду с машинами. Следовательно, понятие "диктатура пролетариата" — неограниченная власть над самим собой — есть нонсенс и на деле может означать только диктатуру аппарата, во власти которого пролетариат окажется после победы пролетарской революции. На это указал еще Спенсер.

Поскольку действительная диктатура пролетариата принципиально неосуществима, "советское государство, именовавшееся до 60-х годов "диктатурой пролетариата" (название раздела 3 первой части) есть на деле власть олигархии, верхушки партократии. А идея "прорыва слабого звена в цепи мирового империализма", оправдывающая октябрьский переворот в отсталой России, есть "прорыв цепи" все того же исторического материализма, дополненный подменой победы социализма победой партии, действительно возможной "даже в одной отдельно взятой стране".

Вторая, самая большая (185 страниц) часть книги ("Бюрократическая утопия") содержит исследование экономических возможностей модели "научного социализма". Для читателя может оказаться сюрпризом, что во всех работах классиков марксизма нет ни одной серьезной рекомендации по вопросам экономики. Есть только декларации вроде: "Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного "синдиката" (...). Учет (...) контроль упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики и выдачи соответствующих расписок" (Ленин). "...очень просто будет выяснить, сколько потребуется определенному числу лиц (...), и (...) не трудно будет организовать производство соответственно потребности" (Энгельс). "Дело сводится просто к тому, что общество должно наперед рассчитать, сколько труда (...) оно может без ущерба тратить на такие отрасли производства, которые (...) сравнительно долгое время (...) не дают никакого эффекта (...). Напротив, в капиталистическом производстве разум всегда заявляет себе "пост-фактум" (Маркс).

Автор прав: декларировать, будто все “просто в том”, чтобы разум заявлял о себе заблаговременно, а не “пост-фактум”, — значит сформулировать задачу, но не ее решение. Решения же на самом деле нет, как нет его и у столь же “простой” задачи получать энергию из ничего. Это положение и доказывает вторая часть книги. Автор опирается на работы ведущих советских экономистов, привлекает теорию управления в биологических системах, приводит количественные итоги приложения “великолепной теории” к практике. Переработать количество информации, необходимое для управления всеми группами общества из единого центра, поставленного над этим обществом, физически невозможно. Остается лишь оптимизация по критериям и в интересах центра. При этом марксовский принцип вознаграждения по потребности независимо от труда превращается в ленинский принцип требования труда независимо от вознаграждения, интересы общества полностью игнорируются.

Автор несколько не идеализирует капитализм, он четко формулирует пороки конкурентно-рыночного механизма распределения. Их невозможно устранить “раз навсегда”, за цивилизацию спроса необходимо бороться все время. Но марксова идея “просто” уничтожить конкуренцию ведет к монокапитализму, в котором нет достоинств капитализма, а все его пороки усугублены. Это так же нелогично, “как отказываться от медицины потому, что человек все равно смертен” (стр. 127).

Автор опровергает марксистскую концепцию о “диалектическом” превращении конкуренции в монополию. Монополия неосуществима одними лишь экономическими средствами: их недостаточно, чтобы полностью захватить свободный рынок. Этот факт очень важен для анализа проблем устойчивости и жизнеспособности демократии.

Третья часть (“Демократия — что это такое?”) представляет особый интерес. Обычное брожение умов, когда речь заходит об отношении к демократии, порождено прежде всего неудовлетворительным определением самого этого понятия.

“Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре. Но разве это правильно, черт возьми, чтобы глупые управляли умными? Никогда в жизни!”

На эти слова ибсеновского доктора Стокмана нечего ответить, если придерживаться традиционного определения демократии как народовластия, то есть власти большинства, пусть даже и при гарантии прав меньшинства.

Автор определяет демократию как перенос законов конкурентного товарного рынка в сферу производства и потребления информации. Это определение — важное научное достижение. “Тоталитарную диктатуру укрепляет прежде всего ее информационный монополизм (...). Диктатура не конкурирует со своими идеологическими оппонентами — она их душит и глушит, перевирает и оклеветывает, уничтожает или фальсифицирует — в зависимости от досягаемости, но никогда не допускает их прямого диалога с ее подданными” (стр. 300). Вопрос “Демократия — это хорошо или плохо?” — решается теперь на такой же объективной основе, как и вопрос о конкурентном рынке. Все решает цивилизация спроса. Уродливый спрос может демократическим путем привести к власти диктатора. Таким обра-

зом, предложенное автором определение демократии вооружает противников тоталитаризма знанием, за что и против чего бороться.

Четвертая часть ("А затем?") посвящена разбору знаменитой книги Ленина "Государство и революция". Вышедшая вторым изданием тогда, когда сам Ленин уже полностью отошел на практике от всех декларируемых в ней принципов, она выглядит резким обличением "перерожденцев, извративших ленинские нормы", и потому является важным источником иллюзий, будто "плохой" Сталин испортил "хорошие идеи" Ленина. Показав ее научную несостоятельность и внутреннюю противоречивость в системе отсчета самого "научного социализма", автор внес немалую лепту в развенчание вредных иллюзий о Ленине и ленинизме.

Пятая часть ("Развитый социализм") дает обзор эволюции СССР за годы, прошедшие после выхода в свет первого издания книги. Продолжается падение продуктивности экономики, усиливается обнищание населения. Вместе с тем растет военная мощь, а внутри страны растет принуждение (разумеется, под аккомпанемент разговоров о "демократизации").

Эта небольшая книга карманного формата поистине заслуживает названия капитального труда. Дора Штурман проделала за нас огромную работу, критически проштудировав всю библиотеку. Потребовался не один десяток лет, чтобы подчинить своему господству столь обширный материал и сформулировать столь неопровержимые выводы. Будем благодарны автору.

## ПИСЬМА

### Так назовем вещи своими именами

Статья господина М. Агурского "Опасность гибели от правой литературы" ("Джерузалем пост", 5 января 1987 года) с первых же строк поражает своей противоречивостью. В самом начале ее говорится, что русскоязычные издания на Западе являются темной и убыточной частью книжного рынка, не могут существовать без финансовой поддержки, то есть "субсидий", за которые ведется "кошмарный бой", что серьезные политические деятели относятся к этим изданиям как к побочному явлению, а израильские — даже с улыбкой. А вслед за тем — что "эти издания добились необычайной политической важности", что их страницы "стали полем боя для разных ... кругов американской политики" и т. д. и т. п. Но главное, чему в основном и посвящена статья, — это "доказательство" страшного вреда и опасности, которые представляет русскоязычная пресса свободного мира для (!) Израиля и сионизма. В заключение господин Агурский требует называть вещи своими именами.

Назовем.

Как и вся прочая свободная западная печать, русскоязычная пресса весьма разнообразна, многопланова и потому представляет широкий выбор для вкусов и интересов своего читателя-покупателя-рекламодателя. Она имеет не о д и н - е д и н с т в е н н ы й, а м н о г о различных источников существования. Одним из важнейших является гарантированная подписка университетов и других организаций свободного мира. Производится она в основном потому, что русскоязычная пресса содержит много интересующей их информации, которая отсутствует в других изданиях.

Между различными русскоязычными изданиями на Западе действительно идет конкурентная борьба за читателя-покупателя и субсидии от разных меценатов. Конкурентная борьба перед лицом потребителя, а не "кошмарный бой", характерный для конкуренции перед лицом единственного партнократического хозяина. Между авторами, разумеется, тоже идет конкуренция. Отбор материалов производится редакциями не "без критериев", а согласно их собственным критериям, которые весьма различны. Единственного и притом "единственно правильного" критерия у русскоязычной прессы, как и у всякой свободной прессы, нет, и именно это дает возможность многим тысячам выходцев из СССР на Западе выразить себя через эту прессу, не поступаясь своими моральными принципами.

Следует также отметить, что при современном состоянии книжного рынка платное распространение тиража около тысячи экземпляров уже окупает расходы на издание, а нескольких тысяч — приносит прибыль. На нынешний день русскоязычная пресса на Западе имеет рынок, способный поглотить такие тиражи.

Что же общего есть в русскоязычной прессе (мы не относим к ней прессу прокоммунистическую или погромно-нацистскую, как правило служащие тому хозяину, что и советская)? Это действительно ее противостояние ком-

мунистической идеологии, которое господин Агурский, пользуясь советской терминологией, называет "правым и антисоветским". Такая направленность естественна и понятна: большинство авторов и редакторов (издателей), равно как и читателей имели "счастье" видеть мир победившего социализма собственными глазами в разные времена. Позже они увидели свободный мир с его достоинствами и недостатками, стали его частью и сделали соответствующие выводы.

Зато об отношении русскоязычной прессы "в целом" к Израилю говорить бессмысленно — оно очень неоднозначно. Даже в одних и тех же номерах журналов можно встретить прямо противоположные суждения и взгляды по самым разным вопросам, включая весьма критичные — как в отношении израильских властей, так и в отношении их конкретных действий. Иногда эта критика справедлива, иногда нет, но это уже издержки демократии.

Чем же все-таки провинилась русскоязычная пресса перед господином Агурским именно теперь? Может быть, тем, что используя опыт познания Советского Союза изнутри, первой дала объективную оценку событиям, произошедшим в нем в последний период?

Когда западная печать умилялась идущим в СССР "благодарным переменам" и его "новому молодому и энергичному лидеру" (как в свое время — Андропову в первые недели его правления), русскоязычная пресса заняла куда более сдержанную позицию. А затем в ней во все большем количестве стали появляться материалы, показавшие, что горбачевские "реформы" и "перестройки" ничуть не меняют сущности советской тоталитарной партократической системы.

Сегодня восторги от личности Горбачева, его новшеств, перестроек и либерализма уже приутихли. Судя по последнему пленуму ЦК не в восторге от сегодняшней ситуации и сам Горбачев. И если тут хоть частично "виновата" свободная русскоязычная пресса, это значит, что в трудных для нее условиях западного конкурентного информационного рынка она все-таки добилась большей политической важности, чем можно было ожидать при ее тиражах.

Честь ей тогда и хвала!

С. Тиктин

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В № 49 "22" опубликована моя статья "Социально-философский фольклор советской интеллигенции: очерк третий". Она рекламируется на обложке таким образом: "Интеллектуалы под скальпелем социологии — полемика В. Шляпентоха и О. Кустарева".

Я вынужден задним числом протестовать против такой подачи моей работы. Она радикально искажает мой замысел. В моей статье сказано:

*“Я не полемизировал со статьей Шляпентоха”. Эта фраза имеет смысл, и притом решающий, для всех трех очерков, которые я написал.*

*Если бы я полемизировал со Шляпентохом, я придерживался бы совершенно других правил, других жанровых приемов, другого языка и другого тона. Я писал не полемику, а критику, используя стандартные приемы операции, известной как “критика идеологии”.*

*У меня нет никаких иллюзий насчет идеологичности моих собственных писаний; мне вполне известно, что моя работа может быть подвергнута точно такой же операции.*

*Журнал изобразил дело так, будто между мной и Шляпентохом имеет место прямая полемика. Такая полемика может иметь место лишь в том случае, если оба участника заранее, д о п у б л и к а ц и и , ознакомлены с тем, что написал оппонент.*

*Публикация в одном номере статьи Шляпентоха и моей — крайне неуместное предприятие. В особенности учитывая рекламные строчки на обложке. Журнал поставил меня в глупое положение. Этого уже не исправить, и я лишь хотел бы выразить по этому поводу свои сожаления.*

*О. Кустарев*

Главный редактор – Рафаил НУДЕЛЬМАН

*Редакционная коллегия:*

В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, Н. РУБИНШТЕЙН,  
М. ХЕЙФЕЦ, Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА

*заведующая редакцией* – Мириам БАР-ОР  
*технический редактор* – Наталья РУБИНА

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", Р. О. Б. 7045, Рамат-Ган.  
Телефон редакции – 1031-394525*

**Представители журнала за рубежом:**

**США:** L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805.

**ФРГ:** L. Roitman, 67 Oettingest. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22.  
L Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

**Великобритания:** R. Weisman, 1 Lodqe Rd., Hendon, London NW4 4DD.

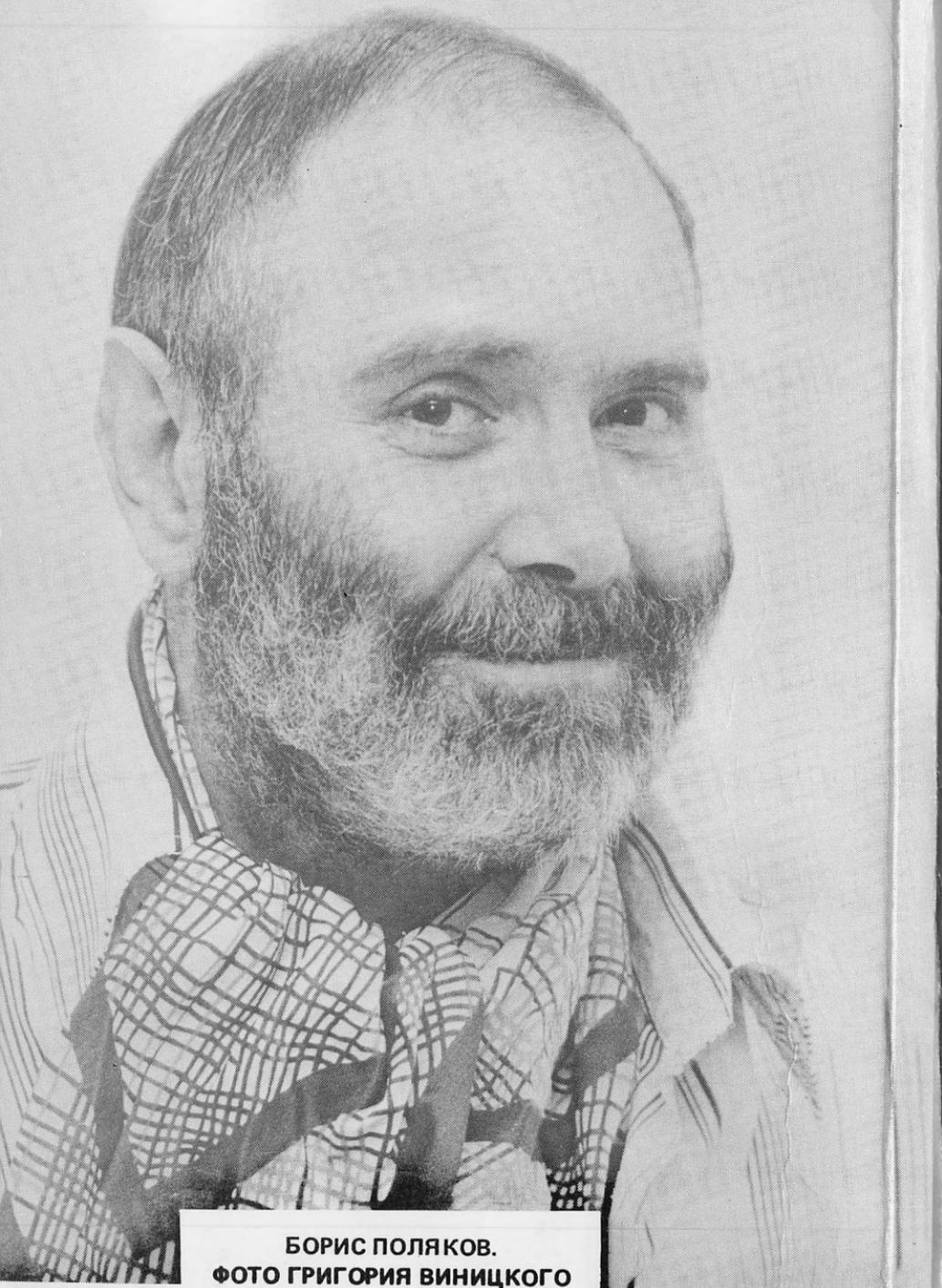
Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 50 шек., за рубежом – 40 долл.  
(авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долл.), для организаций – 50 долл.

В феврале-марте журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: доктор Беленький (Иерусалим) – 10 шек., Э. Войтовецкий (Беэр-Шева) – 20 шек., Ф. Кандель (Кармиэль) – 20 шек., М. Рубина (Ришон-ле-Цион) – 20 шек., Д. Рудштейн (Иегуд) – 10 шек., Л. Шехтман (Беэр-Шева) – 20 шек., М. Шехтман (Беэр-Шева) – 25 шек., С. Шифман (Хайфа) – 30 шек., доктор Аксельрад (Мюнхен) – 25 долл., Н. Гурмарник (США) – 30 долл., Н. Михникова (США) – 10 долл., Н. Пархомовский (США) – 30 долл., К. Тарлей (США) – 20 долл. Выражаем глубокую признательность нашим друзьям.



Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС" , ул. Рош-ПИна 22, Тель-Авив



**БОРИС ПОЛЯКОВ.**  
**ФОТО ГРИГОРИЯ ВИНИЦКОГО**